

Б И Б Л И О Т Е К А

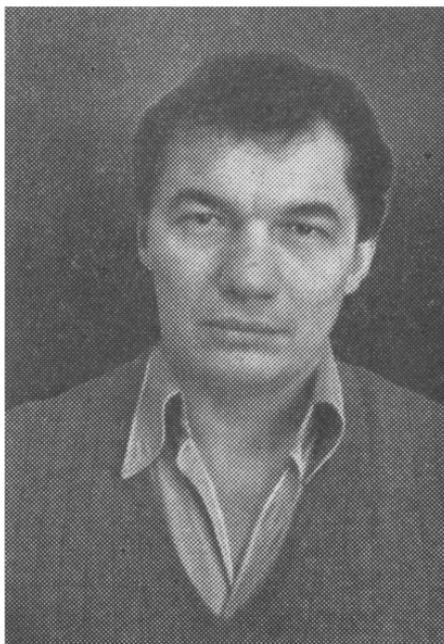
ISSN 0132-2095



**ОГОНЁК**

№ 21

1984



***Валерий ПОВОЛЯЕВ***

**А ВАМ ВСТРЕЧАЛИСЬ  
В ЖИЗНИ ЧУДАКИ?**

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 21

Валерий ПОВОЛЯЕВ

# А ВАМ ВСТРЕЧАЛИСЬ В ЖИЗНИ ЧУДАКИ?

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1984

**Валерий ПОВОЛЯЕВ**

*Валерий Дмитриевич Поволяев родился 13 сентября 1940 года в г. Свободном Хабаровского края.*

*Окончил художественный факультет Московского текстильного института и сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии.*

*Работал электриком на заводе, художником, преподавателем института, журналистом.*

*Автор повестей «Таежный моряк», «Разбитое зеркало», «Долгий заход солнца», «Фунт лиха», «Шурик», книг «Семеро отцов», «Быть самим собой», «Дождь над городом», «Дима из Надыма», «Какой был долгий год», «Иду на «Вы», «Кто слышал крик аиста», «Горячие дни в холодную пору» и других.*

*Лауреат премии Ленинского комсомола, премии ВЦСПС и Союза писателей СССР за лучшее произведение о рабочем классе, заслуженный работник культуры РСФСР. Награжден орденом Дружбы народов.*

*В. Поволяев — секретарь правления Союза писателей РСФСР.*

## ОСТАНОВКА НА БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЕ

Лето в этом году выдалось в Прибалтике неважным. Было холодно, шли нудные, мелкие дожди, и люди практически не вылезали из плащей. Ходил в плаще и Локтев. Был он высоким, видным мужиком с вьющимися, посолонными сединой волосами, крутоскулый, с крепким ртом, с печалью и насмешкой, как-то странно уживающимися в его глазах. Действительно ведь странно, а: печаль и насмешка?

Отдыхающих в Юрмале было немного — мало кому хочется коротать свой отпуск под дождем, поэтому те, кто раньше приезжал отдыхать в уютные юрмальские поселки Булдури, Дзинтари, Майори, Дубулты, укатили в этот раз на благодатный юг. Пустынный юрмальский берег с его белым и мелким, будто хорошо потолченный сахар, песком заливала темная вода Рижского залива, вытаскивала откуда-то из неведомых глубин маслянистые, цвета старой хвои водоросли, сбивала их в кучи. Водоросли эти не успевали убирать мусорные машины, и они закисали, сильно пахли йодом, рыбой, еще чем-то острым, неприятно-резким.

Тихо и немного тоскливо было в этот год в Юрмале.

Локтев, в прошлом военный, на штурмовиках Ил-2 провел всю войну, имеет ордена... Летал он и после войны, да случилась авария, и пришлось ему покинуть небо, окончательно переселиться на землю. А небесная высь тянула, она навсегда приважила к себе Локтева, поэтому он решил не прерывать этих связей и, вспомнив, как до войны еще пацаном ходил в горы, вернулся к этому давнему увлечению — занялся альпинизмом. Облазил, одолевая вершины, Памир, Тянь-Шань, Саяны, Кавказ, несколько лет работал спасателем.

В этом году он тоже собрался отбыть в горы, да задержался дома. Имелись на то свои причины.

...Он шел по сосновой улочке, где в прогалах между мокрыми, тускло светящимися в дневной хмари стволами деревьев виднелись крашенные бока коттеджей, беседки с оцинкованными крышами, скамейки для любителей посудачить, из-за дождя сейчас пустующие.

Под скамейками этими, в тени, угрюмо нахохлившись, сидели голубисизари. Локтев посмотрел на сизарей, потом оглянулся, поискал глазами, нет ли поблизости какой-нибудь лавчонки, где продавали бы булочки или пирожки, но лавчонок не было, и Локтев развел руки в стороны: извините, ваш-бродь, уважаемые сеньоры голуби, покормить вас нечем... Двинулся дальше, снова погружаясь в собственные мысли. Дождь всегда либо в сон вгоняет, либо понуждает думать о чем-нибудь печальном, вечном, спокойном, заставляет философствовать. Философствовать, вот-вот... Про себя. Он усмехнулся. Время ныне высокообразованное, дипломированное, так сказать. И хорошим образованием сегодня — не то, что в пору локтевской молодости — уже никого не удивишь. В общем, стала философия общедоступным делом, таким, как грибная охота, коллекционирование марок, увлечение кавказской кухней и обсуждение политического положения в бедствующих странах Африки.

Выйдя на главную улицу, Локтев увидел броские, недавно покрашенные свежим лаком будки междугородного телефона-автомата, пошарил в кармане, проверяя, есть ли у него пятнадцатикопеечные монеты. Монеты были, и он направился к будкам — надо было позвонить в Свердловск Паше Смеляку. В который уже раз он звонит Паше? В десятый, в двадцатый? Автомат был безотказным, сработал быстро, и в трубке раздались надрывные, отдающиеся болью в ухе гудки, один, другой, третий, седьмой, четырнадцатый... Локтев повесил трубку на висюльку телефона — Пашина квартира не отвечала, нету товарища Смеляка дома.

Выходя, заметил, что у будок стоят две девушки, одна броская, хорошо сложенная, с длинными, тщательно расчесанными светлыми волосами, другая чуть пониже и попроще, но тоже очень приметная. Скользнул по ним глазами: это что же, новые отдыхающие появились, искатели курортного счастья в бессезонье? Если это так, то нет им смысла искать курортное счастье, а надо быстрее брать билеты и лететь на юг.

Захотелось есть, и Локтев решил зайти в ресторан. Ресторан, он как некая модель города, этаким отсвет, также был уныло-пустынным, сидели в нем лишь две сиротливые, тихие до робости пары — и все. Локтев выбрал место у окна, расположился поудобнее, достал сигареты из кармана, закурил.

Был он человеком одиноким — жена у него умерла два года назад, простудившись во время самой обычной, до обидного рядовой прогулки по Рижскому взморью и заболев воспалением легкого, поэтому Локтев, очутившись в грустном положении вдовца, дома готовил обеды редко, впрок продуктами почти не запасался, предпочитая питаться в кафе и ресторанах. Хотя сегодня в ресторан

можно было и не ходить — дома имелась целая кастрюля хорошего маринованного шашлыка, который запросто можно было зажарить на каминном огне.

Эх, Паша, Паша, товарищ Смеляк, почему же твой телефон не отвечает? В прошлом году, когда они были в горах и, взяв пик, спускались на ледник Бивачный, Паша сорвался с огромного под-облачного откоса и полетел вдоль обледенелой, полной каменных оствев и опасных уступов стенки вниз...

Несколько раз потом во сне Локтев видел, как это происходило, и просыпался с тревожно стучащим сердцем, с тяжелой горячей болью, что липким, крапивно покалывающим комком застывала в груди чуть пониже сердца. И всякий раз переживал эту историю заново.

У альпинистов, говорят, подъем на вершину не самое трудное дело, самое трудное — это спуск, когда под ногами обламываются и уходят вниз, в головокружительную глубину, каменные сколы, рассыпается и уползает в бездну тяжелый, плотно спрессованный снег, крошится голубой лед и держаться бывает не за что, абсолютно не за что. И крюк, на котором можно зависнуть, так же бывает вбить не во что...

Но все-таки люди ходят в горы. Ходят для того, чтобы очиститься от земной скверны, побыть наедине с небом и молчаливыми каменными верхушками, на которые нахлобучены ледяные чепчики, взглянуться в слепящую гладь прозрачного неба и в солнце, жарящее, несмотря на летние горные морозы, с такой силой, что человек в несколько часов превращается в самое настоящее печеное яблоко.

В тот тяжелый день у Паши Смеляка — альпиниста хотя и толкового, но еще малоопытного, а потому и излишне смелого — вылетел из скальной породы крюк, на котором он висел, и Паша безмолвной черной птицей, раскрылатив руки, ушел со стенки вниз, на ледник. Высота — более ста семидесяти метров... Провожаемая горьким надрывным «а-а-ах!» фигурка Смеляка все уменьшалась и уменьшалась, делаясь в полете совсем крошечной, потом исчезла из глаз — видно, Паша зацепился за что-то и рухнул отвесно вниз, скрытый идеально прямыми каменным «пупырем».

Локтев навсегда запомнил выгоревшие от тоски и боли страшные глаза своих товарищей, облезшие, в заусенцах губы, на которых вспух один, всего лишь один вопрос: «Неужто Паша погиб?» А он, Паша Смеляк, должен был по всем, выражаясь сухим казенным языком протокола, «обстоятельствам» погибнуть: все-таки высота, с которой он сорвался, огромная, смертельная... Это не каменный порожек лестницы, не пенек, с которого можно запросто спрыгнуть, а подне-

бесье, предбанник господа бога. Когда человек срывается с такой высоты, он не просто разбивается, его буквально разбрызгивает по камням — лишь мокрые пятна остаются. Локтеву самому как-то раз пришлось собирать такого разбившегося совком — лазил по скале и соскребал мокроту с камней. Занятие не для слабонервных. Да, впрочем, те, кто ходит в горы, — люди не слабонервные.

Стояла тяжелая, взвинченная тишина, в которой было слышно, как пар вырывается из ртов и ноздрей и оседает вниз прозрачным позванивающим облаком — пар на этой высоте стекленеет, становится хрустящим и звонким, как новогодний снег. Онемевший Локтев слышал еще, как в висках пулеметным грохотом отзывается бой сердца — будто по обшивке родного, до слез памятного с войны штурмовика Ил-2 хлещут дымные цветные струи вражеских очередей.

Все ощутили в этот миг, насколько тонка, непрочна ниточка, связывающая всех их с жизнью, и как просто, буквально в один присест, в один вздох можно ее оборвать.

Первым очнулся Локтев. Он отстегнулся от связки и в одиночку ушел вниз, к Смеляку — он не верил, не верил, он никак не мог поверить в Пашину смерть. Несколько часов он работал, словно автомат, вырубая в стене порошки, куда можно было бы поставить ногу, вбивая в камень стальные крючья, окутываясь холодным своим дыханием, словно облаком. И все время ощущал тяжелый, вызывающий горечь озноб, ощущал вроде бы стук пули по живому телу самолета. Будто эти пули всаживались в него самого.

Уже в темноте, почти на ощупь, он спустился на косой, круто уходящий вниз снежник. Именно эта косина, отвесность снежного тела, в которое врезался Паша, и спасла его — Паша Смеляк был жив. Подползая к нему, Локтев услышал хриплое, перемешанное со стоном дыхание, пробормотал обрадованно:

— Ну, Пашок-запашок, в рубашке ты родился... Жив, старина, жи-ив.

Паша Смеляк уже вмерз в снег, тело его прочно окольцевала красная, пропитанная кровью наледь. В свете фонаря Локтев вырубил Пашу из наледи, оттащил в сторону, в безопасное место, начал рыть в снегу пещеру — предстояла трудная ночевка.

Неожиданно Локтев увидел, что в ресторанный зал вошли те самые девушки, на которых он обратил внимание, когда звонил Паше из телефонной будки. Без плащей девушки выглядели еще более красиво, более броско... У светловолосой было нежное, с довольно звонкими красками лицо с приметной родинкой на переносице, схожей с касто-

вой метой женщин жаркой Индии, твердый разрез рта, высокая шея, на которой полуприпушенными уголками поблескивали янтарные бусинки ожерелья. Та, что вначале показалась Локтеву попроще, понеприметнее светловолосой, тоже преобразилась, когда сняла плащ: было в ней что-то такое, на что мужская половина человечества всегда обращает внимание. Под густой шапкой темных коротких волос дразняще сильно сияли синие глаза.

И хотя в ресторане были свободные столики, девушки неожиданно подошли к Локтеву — то ли им не хотелось оставаться одним, то ли, как и Локтеву, нравилось место у окна.

— Простите, у вас не занято? — спросила светловолосая.

— Нет.

Когда девушки сели за стол, Локтев вдруг почувствовал, что спокойный климат одиночества, в котором он жил последние часы, рассыпается, еще чуть — и он, Локтев, превратился в жалкую оболочку резинового шарика, которому гвоздем проткнули нежный тонкий бок. Локтеву показалось, что эти две девушки непременно сыграют какую-то роль в его жизни. Вот только какую? Но это, профессор, как говорится, уже второй вопрос. Он усмехнулся, вспомнив старый институтский анекдот. К профессору зоологии пришел сдавать экзамен один довольно шустрый студент. А у профессора день был напряженным, он устал, он уже столько наслушался различных ответов, что уже не было никаких сил выслушивать эти ответы дальше. Поэтому он и предложил студенту:

«Я задам вам только один вопрос. Если вы на него ответите, то незамедлительно получите пятерку, если же нет — двойку. Только один вопрос... Договорились?»

Студент согласно кивнул.

«Тогда скажите мне, дорогой друг, где впервые родился человек?»

«На Арбате», — не задумываясь, ответил студент.

«Почему же именно на Арбате?»

«О-о, профессор, это уже второй вопрос», — воскликнул находчивый студент, протягивая экзаменатору зачетку. Так и у Локтева: вопрос, какую роль сыграют эти две девушки в его жизни, — второй, налицо пока только факт, психологическое ощущение того, что эту роль они обязательно сыграют...

На улице по-прежнему моросил, то усиливаясь, то стихая, нудный, мелкий дождик, он никак не давал хотя бы немного просохнуть юрмальским улицам, асфальту, насквозь пропитанному сыростью, соснам, домам и беседкам, земле. От избытка влаги уже начала чернеть зелень на улицах, и от нее стало пахнуть прелью. Песчаные взлобки, бывшие когда-то, много веков назад, дюнами, размякли, еще

чуть-чуть и они поползут, обратятся в тесто, утратят прежнюю свою крутизну и печальную прелесть, лишат людей удовольствия глядеть на них, ступать по прохладной и вязкой песчаной золе босыми ногами (а это очень приятное занятие, превращающее взрослого в ребенка, — ходить босиком по земле)... Единственная отрада — в эти нескончаемые дожди грибы прут из-под земли с небывалой силой: в самой Юрмале, в скверах этого ухоженного курортного городка, растут огромные и тугие, как репа, боровики, прорастающие сквозь сосновый сор наверх, мясистые и крепкие, не поддающиеся червю шампиньоны, нежные моховики с мягкой губчатой изнанкой, и каждое утро жители прочесывают юрмальские скверы с ведрами в руках, собирая богатую добычу.

— Извините за нескромный вопрос, — вдруг услышал Локтев тихий, нежно-хрипловатый голос, всплыл из глубины собственных мыслей на поверхность, — о чем вы сейчас думаете? У вас такое лицо, что вы непременно должны думать о чем-то необычном. Трудном, вы даже согнулись над столом. Будто на вас давят... м-м-м, как бы точнее выразиться... тяжелые вериги давят, обет какой-то. Может быть, даже прошлое... Правда?

Вопрос этот задала светловолосая, Локтев взглянул ей прямо в глаза, уловил насмешливость и одновременно интерес. Неожиданно для себя подумал: девушка-то эта — настоящий божий подарок, в ней действительно было что-то дивное и в ту же пору знакомое, нестандартное, привлекательное. И слово вон какое нестандартное, забытое применила — «вериги».

— Это была довольно странная дума, — несколько выспренно признался он, от простых слов его увели эти самые «вериги», поймал себя на выспренности, и ему стало смешно, хотя внешне это никак не выразилось. — О грибах я думал... И о дожде. У нас в Юрмале каждое утро жители с ведрами по парку ходят... — Спыхватился: а вдруг они здешние и все это знают? Спросил: — Вы юрмальские?

— Нет, — качнула головой светловолосая, — мы из Риги.

— В любом доме в эти дни жареными грибами пахнет. Много грибов в нынешнем году. Хотя «много» — это понятие относительное. Смотри с чем сравнивать. Иногда «много» оказывается обычным «немного». Больше всего в своей жизни грибов я видел — вы даже представить себе не можете — на Севере, в командировке. Летал как-то туда, — он неожиданно увлекся, Локтев, седой человек, обладающий качествами мальчишки, — на две недели и угодил в самый разгар грибного сезона. Есть там один портовый городишко — Певек. Стоит он на берегу Чаунской губы, это самый конец Северного Ледовитого пути. Как-то в выходной день проехали мы на берег океана. Едем,

смотрим и глазам своим не верим: по тундре, по самому берегу, ходят люди с ведрами и что-то рвут во мху. Я вначале подумал, что они собирают ягоды, а оказалось — ан, нет... Грибы. И что главное — грибы там, как на подбор, один к одному. Шляпы здоровые, словно подсолнухи, пять-шесть таких грибов — и ведро битком набито. Полным-полно. И ни одного червивого, потому что кругом лед, лед, лед. Разгребешь мох, а под корнями голубая, твердая, как камень, земля, она насквозь проледенелая, буквально вся, до самой изнанки...

Он замолчал, но не надолго, ибо вновь услышал нежно-хрипловатый голос светловолосой, продолжавшей говорить прежним «высоким штилем»:

— Это сага о грибах... Спасибо. А где же сага о дожде?

— Извините за воспоминания ветерана, увлекся.— Локтев снова посмотрел за окно, где тем временем дождевой морок сгустился, стало по-вечернему темно. Да, собственно, уже пора и темнеть, вечер ведь приближается.— Саги о дожде не будет, ибо дожди, ливни, всякая сезонная хмарь и слякоть мне, честно говоря, не по душе. Не привык.

Сейчас в нем говорил летчик — человек, всем существом своим, мозгом, телом, кровью не любящий непогоду.

— Привычки, собственно, как и характер, принято уважать,— с едва уловимой иронией произнесла светловолосая.— Это норма жизни, это так же сильно, как и собственное «я». И, сказывают, иногда это «я» даже с большой буквы бывает.

Говорила только светловолосая, ее подруга молчала — была более занята столом, чем разговором. А на столе уже появилось все необходимое для обеда — и балтийская лососина — слабосол, и угри, которые уцелели в ресторанном меню только благодаря плохой погоде, ибо будь погода, приемлемая для отдыха, угрей давно бы смолотили любители северного загара, и бульон с хрустящими, обсыпанными укропом сухариками. Появился и коньяк, заказанный Локтевым.

— Если хотите послушать умные рассуждения о дожде и вообще о воде, поезжайте в Азию. Либо на Восток,— сказал Локтев,— там любят философствовать на эту тему — каждый раз прямо-таки в мир мудрых мыслей попадаешь. Ей-богу. А если говорить без всякой иронии о привычках, то я много раз замечал одну вещь — люди, живущие, например, в Азии, любят смотреть на воду, на бег реки, на игру фонтана, те же, кто живет в Европе, предпочитают воде огонь. Любят смотреть на огонь костра, на огонь камина или заката, на...

— Огонь пожара...

— Даже на огонь зажженной спички.

— Все очень просто — в Средней Азии, в той же Туркмении или в Узбекистане, жара стоит несусветная, человек в сухой гриб превращается, вот его и тянет к воде,— прервала обстоятельное изучение обеденной сервировки синеглазая, стрельнула ультрамариновыми лучиками в Локтева,— в Европе же совсем напротив — холодно в нашей славной Европе. Поэтому невольно хочется погреться. Так, Сподра?

— Нет романтического запала в твоих словах, Тонечка,— сказала светловолосая,— ты все подвела под знаменатель обыденности. Погреться — этого мало... Огонь — ведь не только возможность согреть озябшие руки или сварить, извини, суп, огонь — это бог, это нечто священное во все века, чему принято поклоняться. И вода... Вода — это тоже бог. А потом, почему люди любят смотреть с одинаковым интересом на огонь и воду? Потому что таков обычай — любить богов. Да потом глаза не устают, когда смотришь на воду, на огонь, даже более того — успокаиваются. И весь организм твой успокаивается, приходит в состояние... м-м-м... ну, некой мудрой отрешенности, что ли. Кроме того, движение огня, равно как и движение воды, рождает мысль. Ты вникни в суть, Тонечка, — человек в таких условиях думает. Ду-ма-ет.

«Бытовая философия», — усмехнулся про себя Локтев. Значит, светловолосую зовут Сподрой, а синеглазую — Тонечкой. Тоней. Когда возникла пауза, Локтев перевел разговор в другое русло.

— Вы латышка, — неожиданно утверждающе сказал он Сподре, — а вы, — он перевел взгляд на синеглазую, — русская. Правильно?

— Ошиблись, — в глазах у Сподры снова забегали насмешливые тени, и Локтев почувствовал себя неловко. — Русская — это я, — сказала Сподра, — а она, — показала взглядом на Тонечку, — латышка!

— Почему же у вас тогда имена, извините, наоборот? У латышки русское имя, а у русской — латышское?

— Папы и мамы наши такие, что хотели, то и делали.

— Ладно, не будем их осуждать, — махнул рукою Локтев. — Лучше приступим к обеду. Не то все остынет.

Он был раздосадован — не заметил, что Тонечка произнесла свои несколько фраз с довольно сильным акцентом, Сподра же говорит порусски чисто, без примесей, будто живет не в Латвии, а в Москве. Попутал бес — имена сбили с толку. Чтобы как-то развеять досаду, чувство неуверенности, возникшие в нем после этой никчемной промашки, Локтев начал думать о горах и о небесной выси, об альпыходах бывших, которые сладко будоражат память, но удовлетворения уже не приносят, и тех, которые еще предстоит совершить, о Паше Смеляке, попавшем год назад в жестокий переплет...

— Вы опять углубились в себя,— заметила Сподра. Предложила: — Может, лучше выпьем?

Локтев молча кивнул.

Он действительно снова углубился в себя, нырнул в собственные мысли, как в некий подвал, где темно, не совсем уютно и не сразу разберешь, в каком углу находится дверь. Перед глазами забрезжил бледный морок снежника, скрюченное тело, впаянное в красную наледь, слабый лучик фонарика — как напоминание о жизни, о Большой земле, о которой они всегда в походах много думают и говорят, о том, что где-то есть огромный мир с беззаботными, не знающими беды людьми, есть лето и тепло, зеленые листья деревьев, распаренный асфальт улиц и загорелые отдыхающие, оккупировавшие белый песок Рижского залива, разлегшиеся на черноморских и каспийских пляжах, на берегах больших и малых рек...

Хорошо, что у него с собой, кроме ледоруба, была тогда маленькая саперная лопатка, американская, привезенная еще с войны. Локтев, вернувшись с фронта, не раз удивлялся — откуда у него, летчика-штурмовика, взялась саперная лопатка? Он же в жизни не рыл окопов! Но лопатка у него все же оказалась. Была она на удивление легка, изящна и удобна в работе. В общем, Локтев ее сохранил. И, как выяснилось, не напрасно — позже, в альпинистских походах она не единожды здорово ему пригождалась. Этой лопаткой он вырыл в снежнике пещеру, втиснул туда Пашу, потом втиснулся сам — надо было коротать ночь.

Паше, который то приходил в сознание, то снова проваливался в жаркую болезненную темень, он дал три таблетки анальгина, а в обе ноги сделал уколы — у Локтева с собой всегда имелась походная коробка со шприцем и лекарствами. Потом накрыл Пашу пуховкой — теплой горной курткой и согревал всю ночь, чтобы Смеляк не замерз.

А мороз ночью вылездался крутой, по-настоящему зимний — градусов около двадцати. И думалось Локтеву в эту ночь о теплом лете Большой земли, о тихих грибных дождях, о запахе хвои и дюн, о собственном вдовцовском жилье, которое он не очень-то ценил, находясь дома, и которое приобретало для него немалую значимость, когда он был в отъезде, об огне камина — а в его квартире был самый настоящий камин, не очень, правда, роскошный, без мраморной облицовки, без лепнин и замысловатого орнамента, украшающего чугунное ограждение, но все же это была не подделка, не электроэрзац какой-нибудь, а камин, в котором можно разжечь огонь, у которого можно посидеть, погреться, помыслить. И березовые, мелко наколотые чурочки всегда имелись и ольховые полешки — для особого пряного лесного духа, которым отдает огонь, когда горит ольха, — все это было

заранее заготовлено. Чтобы камин жил, чтобы в нем плескалось пламя — успокаивающее, наводящее на добрую тихую думу.

Он пытался бороться с собою, гнал прочь разные, не к месту приходящие мысли, совсем не мужскую слабость, которая вообще могла кончиться гибелью. Через час тяжело повалил снег — густой, крупный, стеклянистый, сокрывший все кругом, небо в овчинку обративший. Ох, как не к месту был этот снег. Потом поднялся ветер и началась пурга, которая продолжалась почти трое суток. Пурга была глухой, обваривающей землю холодом, в ней постоянно что-то происходило, жило, дышало, ворочалось, хлопало, по-ведьмински хотело гнусавым спекшимся голосом — в косматых снежных струях обитал какой-то злой горный дух, издевающийся над людьми. В этом хохоте хрипел-задыхался, с трудом удерживая в своих руках ниточку жизни, молодой свердловский инженер Павел Смеляк. Он страдал, обливался потом и лишь изредка приходил в себя, раскрывая мутные, одурманенные болью глаза.

Те, кто шел следом за Локтевым, зависли на стенке, выбрав для пургования более или менее удобные каменные пяточки и выступы, и сидела сейчас вся эта братва наверху, совсем недалеко от Локтева, пережидая непогоду. Кроме них, шедших сзади, помощь никто не окажет, поэтому надо было терпеть, тянуть крест до конца. Именно тянуть, ибо без подмоги, в одиночку, Локтеву не дотащить Смеляка, не добраться до вертолетной площадки, откуда старые, потрепанные, но такие родные Ми-4 снимают альпинистов, увозят, а вернее уносят на Большую землю.

К концу второго дня Паша окончательно пришел в себя, разлепил черный, опаленный болью рот, осмысленно поглядел на Локтева:

— Г-где я?

Ну что ответить на этот вопрос, когда они находятся неизвестно где, между небом и землей, в самом пекле, где трещат снеговые охлесты, вдребезги бьются о землю, о лед и о камни, где воеет, мечется из стороны в сторону ветер, ухает, хрипит злой дух? Он, дух этот, в морозном пекле, в хохоте и в гнусавых вскриках — как рыба в воде, он у себя дома и никакой ему музыки, кроме воя и вскриков, не надо. А человеку в этой «музыке» худо.

— Мы на снежнике, Паша, — пробив рукою лаз в снегу, плотно завалившем вход в пещеру, присипел Локтев, глянул в пробой: не стихает ли пурга? Пурга не стихала. — Вьюга поднялась, Паша. Ходу никакого пока не дает. Уляжется пурга — дальше двинем, на вертолетную площадку.

— Ч-что у м-меня с н-ногами? — из черного Пашиного рта вырвался слабый бледный парок, зазвенел стеклом тонко и печально, — н-не чувствую н-ног с-совсем.

— Покалечились малость лапы у тебя, Паша. Скрывать не буду. — Локтев никак не мог справиться с собственным сипением — видно, застудил голос, глотку, бронхи, в легких что-то повизгивало ржаво, лопались пузыри: два дня сидения в морозном снегу даром никогда не проходят. Не справившись с окалиной, обсыпавшей горло, он постарался придать сипению некую бодрость, уверенность в том, что все будет в порядке. — Но это дело, Паша, поправимое. Надо только до Большой земли докарябаться, а там — медицина, лекарства, врачи. Врачи, брат, у меня знакомые есть такие, что... Если понадобится, они даже палец к носу прирастить могут. И так прочно — не оторвешь. Не то, что конечности... Вот, Паша, каких успехов медицина наша достигла.

Паша повозил головой по снегу — он, похоже, одолевал боль и сейчас не ощущал не только ног, а и всего тела, вот ведь как. Эта пропажа боли обеспокоила Локтева, он приготовил было шприц для новых уколов, а потом подумал: надо ли?

— Я с большой в-высоты уп-пал? — спросил Паша.

— Нет, — решив не говорить правду, ответил Локтев, — метров пятнадцать там было, не более.

— П-по-моему б-больше.

— Ну, Пашок-запашок, ты придира. Может быть, на пятьдесят сантиметров и больше было.

— Я б-буду ж-жить?

— Ты, Паша, брось эти штучки «жить» — «не жить», — жестко сказал Локтев, сощурился глаза в узкие твердые щелочки, — оставь их для героических рассказов своим домашним. Понял?

На это самое «понял?» Смеляк не ответил — он опять потерял сознание.

Пробитый глазок тем временем снова засыпало снегом — пурга и не думала стихать, более того, она, кажется, набрала еще большую силу. На кадык кто-то начал давить пальцами, мять его — Локтева тошнило. Тошнота — это от голода. Ведь Локтев уходил вниз, к Паше, налегке, все продукты остались у ребят, в группе. Голод — это даже хуже, чем болезнь, ибо в горах человек без еды слабеет в несколько раз быстрее, чем внизу, на земле, а ослабевший, полудохлый человек — это обуза, если он оказывается среди других, а если он один, то это иссасывающая боль, тяжесть борьбы с самим собою, с собственными мучениями, с осознанием того, что скоро сердце ударит в последний раз и стихнет...

Вдобавок ко всему зверски хотелось спать, и Локтев из последних сил боролся со сном, залезал пальцами под рукав, захватывал кожу и с силой крутил ее, оставляя черные, лишенные боли пятна. И все равно блазил перед глазами юрмальский сухой сосняк, сквозь

который проглядывала блеклая, будто выгоревшая на солнце полоска залива, сахарный, плотно утоптаный босыми ногами песок и люди, люди, люди — много людей. На горизонте, бросив якоря, зависли непонятно где — то ли в воздухе, то ли в воде — два траулера, вернувшиеся с салачного промысла. И еще усыпляюще-сильно пахло пряным, немного прогорклым и оттого очень вкусным ольховым дымом, едва уловимым духом жилья, ароматом пламени, лижущего закопченные, с наростами сажи стенки камина... Непонятно было — сон это или одурь?

Он крепко ухватил пальцами кожу на шее, оттянул, почувствовал свежую, не усыпленную щипками боль, встрепенулся, незряче посмотрел на пальцы, потом все-таки немного прозрел и с каким-то посторонним равнодушием отметил, что пальцы испачканы кровью...

На третьи сутки пурга начала сдавать, космы снега разредились, сквозь пробой, сделанный в снежной стенке пещеры, Локтев увидел идущих людей, и оттого, что это было спасение, конец муке, голоду, всему худому, в крепком локтевском организме неожиданно лопнула какая-то жила, ему сделалось душно, он начал проваливаться в глубокую темную яму, но, прежде чем окончательно провалиться, успел высунуть в пробой руку и закричать сипло, что было мочи: — Э-э-хе-е!..

На этот крик к нему и побежали люди.

В ресторан тем временем ввалилась группа парней, шумных, уверенных в себе и в своем праве на жизнь акселератов, одетых в джинсовые брюки и куртки. Локтев с удивлением отметил, что все они были загорелые. Подивился: когда же и где акселераты сумели загореть, если все время крапает нудный, донельзя опротивевший дождь? Честно говоря, Юрмала уже забыла, как выглядит солнце... Может, парни загорели, извините, на примусе, на ультрафиолете, в рыбацкой коптильне?

— Ну вот вы и вернулись в этот мир, — объявила Сподра, и Локтев, медленно прозрев, еще раз отметил, какое у нее нежное, доброе и застенчивое лицо, юное, непотревоженное, даже дышать страшно. К этому лицу, может быть, даже ни разу не прикасалась мужская рука, ни разу не гладила эти подскулья, подбородок, высокую, с гладкой кожей шею, не трогала пятышко-родинку на переносице. Из-за такой женщины только на дуэли драться, что, возможно, и случилось бы не раз, обитай они в веке примерно восемнадцатом. А сейчас, увы, дуэль невозможна — идет век двадцатый. Впрочем, если верить теории, что люди повторяются, что кто-то невидимый, повелевающий этим миром, штампует человека, извините за

выражение, по образцам-прессформам и повторы случаются довольно часто, то тогда можно смело считать, что такая девушка явно жила и в семнадцатом веке, и в восемнадцатом, и в девятнадцатом... И из-за нее, как пить дать, немало было пролито горячей мужской кровушки.

Локтев пожалел, что он стар, безнадежно стар для того, чтобы укаживать за Сподрой — ему не выдержать натиска спортивных, с лошадиными ногами мальчиков, знающих все и вся, а также все и вся умеющих, рано изведавших уклады жизни, в том числе и самые интимные, считающих себя венцом вселенной, настоящими людьми, а не двуногими кроликами — в общем, тут придется Локтеву уступить. А не уступит если, обязательно потерпит поражение, вот ведь дело как обстоит... Он усмехнулся, недовольно одернул себя: не увлекайся, дядя.

— Задумчивость ваша — это что, некая примета? К тому, что ветер собирается перемениться, грибы будут расти вниз, а не вверх, и волна пойдет не от берега, а к берегу? Или у вас сложились плохие отношения с начальством, и вы обмысливаете варианты дальнейшего своего жития?

— Плохие отношения с начальством, Сподра, — это как пузырек с нашатырем — от употребления только трезвее становишься. Мозг постоянно ясный, глаз, как у охотника, дальнорезкий, ухо вострое... И главное, фигура спортивная, поджарая — ведь все время приходится держать себя в бойцовой форме. Но, увы, Сподра, я уже не в том состоянии, чтобы позволить себе такую роскошь, как плохие отношения с начальством.

— Тогда в чем же дело?

— Я ведь уже объяснил... Повторю на языке подрастающего поколения — пора менять старый автомобиль на молодой.

Он даже не сразу понял, что сказал пошлость.

Сподра тем не менее пропустила это мимо, засмеялась, потом оценивающе, критически сощурила глаза, оглядела Локтева, бросила взгляд по сторонам, потом снова на него, сделала утешительный вывод:

— Ну, вы еще не в том состоянии, чтобы думать о замене.

— Ну, спасибо, спасибо. — Локтев салфеткой стряхнул коньячную каплю, упавшую на брюки. В порыве искренности признался: — С вами довольно интересно беседовать.

— Комплимент по-латыни — то, чего нет. Поэтому люди, знающие, что это такое, принимают комплименты с видом, мягко говоря, кислым.

— Это не комплимент, Сподра, это — признание.

Тут локтевский голос перекрыл громкий хохот загорелых молодых людей. Локтев оглянулся, посмотрел на ребят, ничего смешного не нашел, переместил взгляд на зал. Народу заметно прибавилось — наступал вечер, затяжной, дождливый, и многие решили скоротать это время в ресторане. Ресторан — это ведь как театр: и себя показать можно, и на других посмотреть, и музыку послушать, и посудачить, и что-нибудь интересное узреть. Локтев столкнулся глазами со Сподрой, уловил во взгляде ответный интерес, улыбнулся чуть приметно: вон, оказывается, его собственная персона еще может на себя внимание девушки обратить. Ну, держись, старый хрыч, не растеряй костей...

— Вы, наверное, одинокий человек? — спросила Сподра задумчиво. — Я угадала?

Локтев покачал головой, оглянулся на шумную загорелую компанию: приметные голоса у акселератов, мешают братва разговору.

— Не совсем. Хотя я и похоронил жену и детей у меня нет, а все же я не один... Дома у меня живут два симпатичных существа — одноглазый мух Василий и жук Витек.

— Почему не муха, а жук?

— Да потому, что он, извините, парень. Мужского рода-племени. Мух Василий любит у меня сидеть на шторе и наблюдать оттуда, как я работаю. Если я пишу письмо и не в том месте ставлю запятую, он поправляет. Если ему надо прыгнуть со шторы на стол, то он, как всякое аккуратное существо, вытирает ноги — вначале две передние, потом две средние, а затем — две задние и лишь потом перемещается на стол. Пуговицы у него на пиджаке всегда целы, не болтаются, все до единой пришиты... Не то что у меня. Ботинки начищены, медная часовая цепочка на животе имеется. И вообще он парень славный, мух Василий, хотя и несколько робкий. Когда в дом приходят чужие, ужасно нервничает, а если появляется дама — смущается, прячется в складках шторы.

— Бедняга, а где же он глаз потерял?

— В уличной драке.

— С кем он мог так здорово подраться? Это же убийственно — выбить глаз мужу.

— Да с кем угодно мог подраться. С воробьем, с голубем, с дворовой собакой, с другими мухами.

— А жук Витек?

— Он маленький, хотя и зовется жуком. Скорее жучок, жучишка. Колорадский жучок, специалист по сельскому хозяйству. Говорит, что агрономический техникум окончил, диплом имеет.

— Предъявлял документ?

— Нет, я ему на слово поверил.

— И что же делает у вас специалист по сельскому хозяйству?

— Наблюдает, как в полиэтиленовом пакете прорастает картошка, стережет мусорное ведро, чтобы его не утащили, переворачивает огурцы на подоконнике, чтобы не залеживались и не желтели, сушит салаку, когда я приношу ее домой и хочу завялить для пива... Что еще? Умеет пить водку, приглатывать яичницу и довольно сносно заваривать чай. Достаточно?

— Любопытно было бы побывать у вас дома.

— Проще простого. Нет проблем.

— А удобно?

— Неудобно только, извините за резкость, собственными ушами вытирать нос вместо платка.

— А вы это умеете?

Локтев неожиданно печально, сохраняя отсутствующий вид, усмехнулся — а что, эти две славные пришельцы извне заставили все-таки его выкарабкаться из собственного одиночества, из состояния застоя, и он, будто любопытная гусеница, выполз из теплого кокона наружу, разговорился, даже позабыл о том, что надо снова звонить Паше Смеляку.

— Еще я умею держать на носу соломинку, моргать полтора раза, двигать взглядом тяжелые предметы и с помощью биологических импульсов готовить любимое блюдо йогов — паровые котлеты из рубленых гвоздей. На гарнир — лапша из вареной проволоки.

— Ну, вы умеете гораздо больше, чем ваш приятель, сельскохозяйственно-колорадский жук Витек.

— Все-таки он жук, а я человек, — с несколько странной гордостью произнес Локтев.

Из-за тяжелой суконной портьеры с негнушимися тяжелыми складками, свисающими до самого пола — портьера эта закрывала задник эстрадного подиума, — выскользнул один музыкант, чернявый, армянского вида, с серебряной дудкой в руках, украшенной блестящими, красивыми кнопками, потом в щель протиснулось еще несколько человек, судя по внешности, как и кларнетист, с юга, приехавших, прибывших сюда на летние заработки. Музыканты быстро разобрались по своим местам, и тут же ударил гром, оглушил присутствующих в зале — это подал знак лихой барабанщик, гордость Кавказа. Впрочем, через несколько секунд на смену грому пришла тихая, щемящая мелодия. Из-за стола, где сидели акселераты в джинсовых куртках, отделился видный малый баскетбольного роста, белесый, как альбинос, с загибульками косичек на висках. Уверенно подошел к Сподре, взял ее за локоть.

— Станцуем?

Сподра выпрямилась, в глазах у нее затрепетало темное пламя.

— Прежде всего, уважаемый маркиз, — произнесла она вежливо, — за нашим столом сидит мужчина, и, согласно правилам, извольте вначале у него спросить разрешение, — слова она чеканила медленно, твердо вылепливая каждую букву, — а потом уж обращайтесь ко мне.

Акселерат смешался, но не настолько, чтобы рухнуть на пол, хотя руку от локтя Сподры все же отдернул, будто получил укол током. Обратился к Локтеву:

— Можно ли пригласить вашу даму? — слово «пригласить» он произнес почему-то через «е» — «прегласить», и это было очень заметно, одновременно он сознательно сделал акцент на слове «дама».

Локтев пожал плечами. Он уже знал, что сейчас произойдет.

— Пожалуйста.

— Разрешите? — не желая проигрывать партию, молодой человек снова обратился к Сподре.

Взгляд Сподры все же сбил его с ног, он полетел на пол и, черпая рукавами джинсовой куртки пыль, окурки, огрызки огурцов, хотя пол был идеально чистым, паркетным, натертым до янтарного глянца, промямлил откуда-то снизу, из ужасающе глубокой бездны:

— На танец танго... разрешите...

Но Сподра безжалостно нанесла еще один удар:

— Увы, не разрешаю. Есть человеческие экземпляры, с которыми просто неприлично танцевать. Танцевать с вами — дурной тон. Надеюсь, все ясно? И прошу освободить наш стол от в-вашего присутствия, — на манер акселерата, подражая и одновременно издеваясь над ним, Сподра особо выделила два слова — «наш» и «ваш».

Хотя сцена, разыгранная Сподрой, была жесткой, даже жестокой по исполнению и психологической сути, Локтев не увидел в ней ничего худого. Совсем напротив. Хорошо, что был поставлен на место развязный, до гадливости уверенный в себе парень, который, не окороти его Сподра, пошел бы дальше. Он мог бы запросто налить себе в бокал локтевского коньяка, выпить, а остатки выплеснуть Локтеву на пиджак, мог бы пристать к Сподре, попытаться увести ее с собой, растегнуть на ней кофту, сорвать янтарь с шеи — все мог бы сделать... Конечно, Локтев не трус и не слабак — врезал бы этому парню так, что у того вылетели бы изо рта челюсти и повисли бы на рогульках люстры, но акселерат-то был не один. Их вон — целая команда, лошадиному ржут парни, обсасывая поражение баскетболиста — любителя грустных заморских танго.

Сподра сидела прямая, подобранная. Синеглазая Тонечка давилась смехом.

Эх, скинуть бы годов двадцать — двадцать пять, и он точно бы женился на Сподре. Честное слово. Увлёк бы её, уговорил, покори́л бы собою... И даже образ жены, которую Локтев часто вспоминал, увял, погас в эти минуты, хотя с женою у него было связано все самое лучшее, самое светлое в жизни, и о своей милой, родной, прошедшей с ним сквозь пороховые чёрные годы войны Наташке, Наталии, Наталье Михайловне, он вспоминает с щемящей тяжестью, с болью, всякий раз возникающей в подгрудье, круто обжигающей нутро. Даже виски саднит в минуты воспоминаний от одиночества и печали. Но все, годы ушли, он до хрипа, до кровавой пены загнал своих коней, и нечего даже думать о «подарке божьём», о совмещении прошлого и настоящего, возврата молодости.

— А вот с вами я хочу потанцевать, — прежним нежно-хрипловатым голосом сказала Сподра. Пятнышко у нее на переносице потемнело, и это очень шло Сподре. — Не откажите мне в этом... Пойдемте?

— Вы же только что отшили этого... маркиза из подворотни. Чердачного рыцаря...

— Каждый должен довольствоваться тем, что заслужил.

— Благодарю вас, — пробормотал Локтев. Поднялся. На лице его снова появилось нерешительное выражение. — Но вы же сказали, что не умеете танцевать.

— Не бойтесь. Что главное в танце? Главное не отдавливать друг другу ноги.

— Значит, надо аккуратно передвигать башмаки с места на место, стараться не оставлять после себя грязи и не забывать подбирать обувь, когда она будет соскакивать с ног. Так?

— Так, — подтвердила Сподра.

Танцевала она уверенно, легко, изящно. Она будто бы была рождена для танца. Даже компания акселератов перестала полешачьи сотрясать воздух, галдеть и бряцать бокалами, глядя, как она танцует.

И вот такая вещь — обычно неуклюжий, а порою и беспомощный в танце Локтев неожиданно тоже почувствовал себя легко и свободно, раскованно — Сподра была настоящим мастером своего дела, она сняла с Локтева груз стеснения, сделала его непринужденным, живым и таким молодым, каким он давно не был.

...Они еще долго сидели в ресторане, много танцевали и, если говорить честно, много пили, и Локтеву было хорошо в этот вечер, он словно бы заново обрел себя. Лишь изредка тень озабоченности

проползала по его лицу, но это было настолько незаметно, что даже наблюдательная Сподра ничего не разглядела.

А потом Локтев пригласил Сподру и Тонечку к себе домой — ведь надо же было познакомить их в конце концов с друзьями, живущими в его квартире, с мухом Василием и сельскохозяйственным жуком Витьком. Это славные ребята, они стоят того, чтобы время от времени жизнь света касалась и их...

Юрмальские улицы были темны. Дождь кончился. Сосны задумчиво шумели, тесно сплетаясь руками где-то в вышине — они в беседе коротали ночь, стряхивая на землю водяные гроздья, горохом бьющиеся об асфальт. Локтеву было почему-то грустно, а Сподре и Тонечке наоборот — они много смеялись, толкались, играли по дороге в классики — в общем, вели себя как девчонки, впервые ощутившие вкус свободы, оторвавшиеся от родительского и педагогического надзора.

Случай, происшедший с Пашей Смеляком на Памире, редкий, такого почти не бывает: упасть с высоты сто семьдесят метров и остаться в живых! Подобного не ведал никто. Ни — в своей опасной, полной самых различных падений жизни — Люсьен Берардини, считающийся альпинистом номер один, ни Вальтер Бонатти, восходитель-одиночка, ни братья Абалаковы — словом, никто. Стоило Локтеву представить себе мрачную стосемидесятиметровую стенку, кое-где поблескивающую в слабом свете морозного дня голубоватыми сколами льда, и маленькую ватную фигурку, сверзшуюся с щемяще-огромной верхотуры и теперь безудержно несущуюся вниз, прямо на камни, так сердце у него останавливалось, осклизлым мертвым комком закупоривало горло, и всякий раз возникало болезненное, острое ощущение, что жизнь в нем вот-вот сойдет на нет, обветрится.

Пашу спасли. Его сумели быстро доставить на Большую землю, там сделали несколько операций, потом было долгое лежание на больничной койке, после чего он благополучно отбыл в родной Свердловск... Внешняя канва тут проста, она, если хотите, даже счастливый конец имеет. А вот внутренняя — здесь дело посложнее. Сумеет ли Паша после случившегося одолеть себя, перемочь страх, прежнюю боль и снова пойти в горы? Не то ведь на подобных вещах и не такие альпинисты ломались...

Локтев много раз задавался вопросом: почему люди ходят в горы? Ну то, что он сам ходит, — это понятно... Близость неба, высота, ощущение риска, сладкое, типичное для фронта, для войны, чувствования боя, борьбы, которому сопутствует замирающий бой сердца, оглушающие удары в висках, кипение крови, не желающей мириться с высотой,

риск и опасность, преодоление страха и одновременно преодоление самого себя, каждый раз заново. Но есть и другое. На земле, внизу, в нашей обыденной жизни встречаются негодяи, трусы, люди с двойным дном, что ради корысти и собственного блага готовы пожертвовать даже отцом с матерью. Есть такие люди, есть. В горах же они напрочь отсутствуют, не дано им в горах завестись — там, среди людей, идущих в одной связке, часто рискующих собой, никак не может ужиться подонок или трус. И не надо корить его за то, что он такой уродился, не надо гнать его прочь, если он случайно окажется в связке, — он сам уйдет. Тихо и безболезненно для тех, кто находится рядом. Он просто не вынесет того, что в состоянии вынести другие, — обязательно испугается высоты, мороза, пурги, жесткости, а зачастую и прямолинейности отношений, которые складываются в группе, голода и шпарящего холодного солнца, превращающего кожу в струпья, испугается постоянной, буквально накоротке, опасности, вероятности в любую минуту сверзнуться в бездну.

Сколько ни ходил Локтев в горы, сколько ни брал пиков, вершин, пупырей, из всех гор он предпочтение отдает только одним — памирским. Во-первых, они ближе всех остальных гор к солнцу и к небу, и только там, именно там и больше нигде в полной мере удовлетворяется летчицкая жажда высоты; во-вторых, лишь на Памире погода бывает такой терпеливо-постоянной, без нервных заскоков и перепадов: если начинает дуть ветер, то он дует в одном направлении месяц-полтора, если небо ясное, то оно долго, очень долго будет ясным, если же затевается пурга, то она обычно выдыхается, лишается сил очень нескоро. В других горах — на Кавказе, Тянь-Шане, в Саянах — погода бывает не столь постоянна, как на Памире, все время случаются срывы, а когда погода стабильна, то всегда можно точно, предельно точно рассчитать любое, даже самое сложное восхождение.

В случае с Пашей Смеляком им повезло, пурга продержалась недолго, да и не пурга то была вовсе — так, снежный заряд, выстрел из пушки. Если бы занялась настоящая пурга, вряд ли бы тогда они выкарабкались...

В больнице им с Пашей пришлось лежать вместе; правда, Локтева скоро выписали. Паша же остался долечивать разбитые ноги. Позже Локтев провожал его на самолете до Свердловска, боялся оставить одного.

Конечно, горы — это не только «близость к богу», не только острое ощущение страха и бесстрашия, риска, низменного и благородного, подлости и великодушия, честности и никчемности, горы дают возможность, как точно подметил француз Робер Параго, «возможность судить о себе», понять, кто ты есть на самом деле, кто ты

такой. Горы ломают человека, но они и возвышают его, горы — это очищение от скверны, это ни с чем не сравнимое чувство победы, когда каменная макушка наконец взята и где-то далеко внизу медленно скрипят, ползя в устье, исчерканные каменными полосами морен ледники, а еще ниже растет арча и бродят киики, улары, кеклики — сладкомясая памирская живность, грохочут придурковатые красавицы реки, чье сильное течение способно на отдельных участках волочить по дну полуторатонные валуны, и вода там такая крепкая, тугая и так ошеломляюще мощно она катит вниз, что сунь в течение палец — оторвет палец, сунь руку — оторвет руку.

Если человек на свою беду или счастье свое (кому как) полюбил горы, то они — вот ведь — приваживают к себе, и тогда человек становится их рабом, самым настоящим рабом, честное слово. Вот и случается, что люди, в силу обстоятельств расстающиеся с горами, иногда теряют рассудок — не вытерпеть ведь, когда по ночам снятся ясное горное солнце необъятной величины, блазнятся зеленые сверкучие звезды, рождается ощущение высоты, тиши и величия, и человек тогда тоскует, плачет, жалуется на судьбу, ловит обрывающееся сердце собственной грудной клеткой, накрывает его, как синицу накрывают ловчей плетущкой, и мается, мается, мается до полного изнеможения. Жаль таких людей — они несчастны, они потеряны в своей беде для самих себя и для других людей.

В общем, чего греха таить, Локтев боялся, очень боялся, как бы таким человеком не сделался Паша — уж слишком здорово поломали, покоржили его горы, как бы испуг, рожденный в нем при падении со стенки, не сохранился на всю жизнь. Если, не дай бог, сохранится, Паша тогда пропащий человек, он навсегда останется трусом и будет бояться всего: громкого окрика, полета воробья, огородного чучела, собственной тени. Локтев, спасая Пашу, стал самым настоящим крестным отцом его, и теперь Локтева охватывала тревога за крестника. В нынешнем году он даже задержался на Большой земле, не пошел со своей группой в горы, поджидая Пашу. Ибо знал, что они должны, обязательно должны совершить очередное восхождение вместе, Локтев и Павел Смеляк, — пусть несложное, нетрудное, но это восхождение должно быть совершено. Оно нужно, очень нужно. Для Паши, для жизни, для самого Локтева в конце концов.

Пока что Локтев «проводил работу» по телефону — да, увы, результатов до сих пор никаких. Домашний телефон Паши не отвечал. На службе же Локтеву сообщили, что Смеляк ушел в отпуск. Если же он все-таки не дозвонится до Паши, то тогда сядет в самолет и покатит в Свердловск, ибо знает, что поломы, синяки и шишки, которые Смеляк заработал при падении, — всего лишь полбеда, полная беда,

когда все-таки прошлое оставит след в душе, в мозгу, когда человек изменит свою психику, словно никудышную одежду, превратится в робкое подобие самого себя, в тень. Тогда такого человека уже не спасти. Ничем.

Вот почему Локтев не отправился со своей командой на вождение, остался дома, на Большой земле, поджидать Пашу.

А Паша, он похоже, забился в угол, ушел в никуда, потеряв связь с миром — уже девять дней, как телефон его не отвечает.

Считается, что одинокие мужчины, холостяки и вдовцы, умеют обставлять свое жилье и создавать в нем уют лучше, чем иные хозяйки-женщины в собственных квартирах. Попросту говоря, мужики больше смыслят в том, что радует глаз и создает настроение, они не увлекаются, как это часто случается у женщин, мелочами, рюшечками и кнопочками, не захламляют, извините, комнаты безделушками в виде пуховых собак и котов — существ, ничуть не уступающих пресловутой мещанской герани в горшочках, столь модному в начале века украшению подоконников, тысячу раз раскритикованному; словом, мужчина, создавая интерьер, старается отместить второстепенное и выделить главное.

Хоть и имелись в доме Локтева углы, которые хранили облик, созданный еще покойной Натальей Михайловной, все остальное было уже локтевским: и дерево, которым он собственноручно обшил стены, и украшения, свитые из грубых пеньковых веревок, и картины, и ледорубы, висевшие, словно ружья, на перегородках комнат, и старый самолетный штурвал, и камни, что он привозил из каждого горного похода и любовно, один к одному расставлял на полках, подбирая и komponуя их так, чтобы получалась некая каменная мелодия, икебана...

— Ого, а здесь душа отдыхает, — первой отметила уют локтевского жилья Сподра. — Я, знаете, что сделала бы? Внедрила бы ваши изобретения по части интерьера в массовое производство.

— Никогда не внедряйте в массовое производство изобретения, — усмехнулся Локтев. — Это вовсе не обязательно делать, ибо вслед за только что изобретенным появится изобретение куда более новое, более совершенное... Но и его не надо внедрять — возникнет изобретение следующее, опять-таки более качественное, и так далее. Не ставьте, Сподра, уют на конвейер, уют никогда не станет предметом массового производства.

— Что-то слишком сложно для меня. — Сподра зябко поежилась, обхватила руками трогательно-худые плечи, обтянутые трикотажной кофточкой.

Этот жест перехватил Локтев, быстро сбросил с себя пиджак.

— Я сейчас камин растоплю. Тем более у меня ольховые полешки уже готовые есть, заранее наколоты. Знаете, как вкусно пахнет ольховый дым?

— М-м-м, вот он, высший свет... Камин, ольховый дым, отблески пламени на стене... Версаль, Лувр, замок Шатле, дворец Сен-Поль, — Сподра подняла брови, — ольховое дерево идет только для королевского огня...

— Огонь в моем камине не уступит королевскому огню, — произнес с пафосом Локтев.

— Отсутствием скромности вы не страдаете.

— Красиво жить не запретишь, каждому охота хоть немного почувствовать себя королем и посидеть на троне.

— Хотят сами короли говорят, что на троне хорошо лишь спать: очень удобная мебель для сна и сновидений.

— Не знаю. Ни разу не коротал ночи на троне, ни разу не беседовал с королем. Сколько ни пытался встретить короля где-нибудь в автобусе или в электричке, — мне это пока не удалось.

За веселым, немного шутовским разговором, от которого рождается на душе хмельное ощущение дурачества и легкости, Локтев о деле не забывал — быстро насовал полешков в камин, вниз положил немного бересты, подпалил с одной спички, и вот уже поплыл по комнатам теплый ольховый дымок, делающий вечернее коротанье запоминающимся, полным душевного очарования. И девушки, они, похоже, хорошо, по-доброму относились к Локтеву, бросали на него, старого кондотьера, восторженные взгляды, видели в нем почти ровню, хотя ровня этот был сед, как полярный волк, добывающий в обледенелых скалах свой век. Локтев почти физически ощущал эти взгляды и был благодарен девушкам за их визит, выведший его из состояния душевного застоя.

— А где же ваши жильцы? Одноглазый мух Василий и сельскохозяйственный жучок Витюха? — вдруг спросила Сподра.

— Витек, — поправил Локтев, — Василий, как я уже говорил, очень смущается, когда приходят гости, тем более дамы — сидит, наверное, сейчас с несчастным видом в складке портьеры и чистит зубным порошком пуговицы на собственном пиджаке.

— Они у него что — медные? — поинтересовалась Сподра, подходя к портьеру.

Отвернула портьеру, внимательно оглядела ее. Тонечка присоединилась к подруге, озарила все вокруг синевою взгляда, разыскивая, куда же это спрятался застенчивый мух Василий, любитель правильно расставлять запятыя, снимать обувь, прежде чем перескочить с портьеры на стол, чистюля, что каждый день драит зубным порошком пуговицы на собственной одежке?

— Нет его,— объявила Сподра.

— Я и сам удивился, когда не увидел ни его, ни Витька. Витек, посмотрите, нигде не ползает там? Может, он заснул?

— Не видно ни того, ни другого.

— Странно. Тогда ребята, возможно, вышли погулять. На пару они иногда это делают. Ну, ладно, я думаю, мы не будем ждать их, а выпьем немного коньяку, кофе и погреемся у огня. Когда вернутся, угостим гуляк. Годится?

Это был редкий вечер, какие раньше нечасто выпадали в жизни Локтева, в нем будто заработал, раскрутился на полную мощность старый проржавевший станок памяти, он без устали сыпал летными и горными историями, шутил остроумно и точно и чувствовал, как эти красивые, словно бы из космического небытия переместившиеся в сегодняшний день девушки отзываются на каждое его слово.

Потом они готовили на каминной подставке шашлыки, получившиеся вкусными и сочными, запивали горячее, вязко тающее во рту мясо холодным красным вином.

— А Василий с Витьком так и не появились,— со смехом констатировала Сподра.

— Ну их! — отмахнулся Локтев. — Шляются где-нибудь, полуночники. Возможно, в подвальчик решили зайти пропустить по стаканчику-другому вина... Не пропадут.

Посмотрел на часы — время уже было поздним, четверть двенадцатого ночи. Подумал с какой-то мягкой добротой, что, возможно, Сподре и Тонечке нет смысла сегодня возвращаться в Ригу, возможно, они хотят остаться, и тогда он предоставит им королевские апартаменты, для этого есть все условия — пусть располагаются! А утром подаст им по чашке крепкого горячего кофе и омлет с постной ветчиной — в общем, в грязь лицом не ударит. Он был благодарен им за сегодняшний вечер, за то, что отступило назад, не смея больше допекать, острое и тревожно-тоскливое чувство одиночества, очень схожее с долгой, иссасывающей болью, обеспокоенность за Пашу; он благодарен девушкам за их смех, за доброту, за то, что они вместе с ним едят шашлыки и пьют вино, делают время и зачарованно смотрят на огонь камина. Они в нем действительно будто новую жизнь возродили, надежду подали, а то после бесчисленных звонков Паше Локтеву казалось, что он уже начал терять приобретенное ранее — а именно терять веру в человеческую исключительность, в добро, которое венец природы призван сеять вокруг, чувство мужской дружбы и единения пред мраком художого — он начал было сомневаться в том, в чем сомневаться вообще нельзя.

Сподра также посмотрела на часики, прикрепленные к тонкой серебряной цепочке, обвитой вокруг хрупкой и нежной руки, прошла

на кухню, где на блестящей, старого литья рогулке висел древний, внушительно поблескивающий никелированными деталями телефон с масляно шелкающим безотказным диском, и через минуту Локтев услышал чуть приглушенный хрипловатый голос:

— Мама, я не разбудила тебя? Извини, что так поздно звоню, мамуль, — Сподра еще более понизила голос, и в нем появились доверчиво-капризные нотки, совсем детские, будто ребенок совершил шалость и теперь раскаивается в ней, рассчитывая на сочувствие и любовь взрослых — милый безошибочный рецепт. — Мамуль, я задержалась, прости меня, засиделась у Тонечки. Разреши, я сегодня домой не приеду, переночую у нее. Ладно? Ой, мамуль, спасибо тебе большое, а то мне ехать очень уж далеко. И боязно. Даже не знаю, как я добиралась бы. Что? Плохо слышно? Будто я из Юрмалы звоню? Да нет же, мамуль, не из Юрмалы звоню — из Риги. Вышли с Тонечкой из дома, отыскиали автомат, у нее же, ты знаешь, своего телефона нет — вот и звоним с нею из будки... Дождь идет на улице, а в дождь телефоны в нашей славной Риге всегда плохо работают, ничего не слышно. Ну, целую тебя, мамуль! Спокойной ночи... Привет папе!

Локтев подумал, что, наверное, можно было бы признаться и сказать — они застрели в Юрмале, у старого летчика и альпиниста Локтева и ничего худого в этом нет, но потом, рассмеявшись тихо, одернул самого себя, ведь не очень здорово отнеслись бы папа и мама, если б узнали, что их дочь, «подарок божий», остановилась на ночь у какого-то Локтева... Тут не только всю Ригу — тут всю Латвию поднять на ноги можно.

Нет, какие же все-таки славные девушки Сподра и Тонечка, как здорово, что они здесь. Локтев им в ноги должен бухнуться за это, песню спеть, обучить новой остроумной считалке, показать лучший фокус, который он знает, — ап, вот в руке куриное яйцо, видите? ап, вот вместо яйца мохнатенький пуховый комочек, похожий на большую сережку с вербы! цыпленок это! ап, опять куриное яйцо, проштемпелеванное фиолетовым ромбом «диетическое, первый сорт», — видите? — рассказать о самом точном гадании по руке, о том, как ярко изумрудные звезды, что светят ночью в горном небе, подарить им по неошлифованному памирскому рубину — богатство, найденное в предпоследнем походе, продемонстрировать, как кричит голуб-яван — снежный человек...

Полешки в камине прогорели, пламя мигнуло раз и другой, сделалось бледным, рахитичным. Локтев поднялся, чтобы сходить на кухню, взять новую охалку из ольхового задела, подкормить огонь.

У входа на кухню он остановился — Сподра опять разговаривала

по телефону. Разговаривала тихим, почти неслышным голосом. Неслышным-то неслышным, но только из комнаты, а здесь, у входа на кухню, каждое слово, несмотря на тихость, буквально врзалось в уши, отчетливое, хорошо вылепленное. Локтев хотел было уйти, но задержался невольно.

— Володенька, чем занят? — спрашивала Сподра у кого-то в телефонную трубку. — В карты с Айваром отношения выясняешь? Айвар — это кто? А-а, знаю, знаю, высокий такой парень, он в республиканской сборной по баскетболу играет. Молодец, хорошо играет. Что ж, Айвар вполне подходит. Если может, пусть останется, мы сейчас к вам с Тонечкой приедем. Да, на всю ночь. До утра... Нет, в Ригу проситься не будем, я с мамой договорилась. Где мы? Да тут, у одного старого дураковатого чудака. Ну, пока! Целую.

Локтев почувствовал, как свиная боль наполнила ему виски, и сердце враз дало о себе знать, подпрыгнуло, срываясь с места, вбилось тычком в горло — выходит, его все время водили за нос, просто дурачились над ним, а он этого не замечал? Постичь этот факт было трудно, но постигать надо было... Ах, как все это не к месту! И эти дурацкие слюни, которые он пускал, веселя Сподру и Тонечку, и его сопливая растроганность, восторженность их красотой, добротой и умом — как все это постыдно, смешно, жалко, фальшиво! Надо же — выступил в роли попугая, шута, балаганного развлекателя, трактирного говоруна. Локтев схватился рукой за голову, потянул седую прядь, проверяя, сон это или не сон. Нет, происходящее не было сном. Напились, наелись за его счет, время хорошо провели, глядя, как он раздевается перед ними, разыгрывает то клоуна, то фигляра, то деревенского дурачка... Именно дурачка, Сподра права.

Напрягся тяжело лицом, чувствуя, что боль в висках становится сильнее, она невыносима, и нет уже мочи терпеть ее, нет, но терпеть надо. Надо! Столкнулся взглядом со Сподрой. В ней ничто не выдало волнения — лицо по-прежнему спокойное, со звонкими красками, смутно темнеет родинка на переносице, твердый милый рот чуть приоткрыт, будто на губах застыл невысказанный вопрос.

— Вот что, — проговорил Локтев сильным чужим голосом, — я выйду минут на десять из дома. Погулять... Чтоб вас за это время здесь не было! Ни самих, ни духа вашего. Ясно?

Медленно передвигая негнущиеся ноги, он прошел к двери, вывалился наружу, захватил открытым ртом побольше свежего воздуха. Кадык напряженно запрыгал на его шею. Локтев старался изгнать боль из висков, из крови, из тела, а боль, она, зараза, никак не проходила, хоть криком кричи.

Незряче тычась в какие-то предметы, в сосновые стволы, в изгородь, которой была обнесена детская площадка, он вслепую

побрел к заливу, ориентируясь на глухое давленное сипение волн, перебиваемое мелким раскисшим звуком дождя, который опять посыпал с неба, хрустом песка под ногами, далекими вскриками не засыпающих даже ночью чаек.

Он по ошибке думал, что его спасают, помогают выстоять, дают возможность крепче держаться на ногах, а его попросту топили, как топят ненужную собачонку, привязав камень к шее, его разжевали, словно невкусную корку хлеба, и выплюнули — вот что с ним сделали две красивые девушки. Локтев слепо покрутил головой: боль, вонзившаяся в виски, не отпускала, она проникала в мозг, парализовала движения, желание жить, мыслить, общаться с другими людьми.

Остановившись, он прислонился плечом к гулкому кривоватому стволу сосны, посмотрел печально в темноту, в ту сторону, где плескались, наползая на берег, волны.

Когда он вернулся домой, Сподры и Тонечки там уже не было. Остался лишь едва приметный запах губной помады, духов, лака для ногтей — обычный женский запах. Огонь в камине окончательно догорел, и закопченная задняя стенка недобро чернела, чудилось Локтеву в ее пороховой гари что-то такое, что обязательно принесит зло, увечит дух.

Сел на стул, стиснул коленями руки, опустил голову и словно бы погрузился в небытие. Сколько он так просидел — не помнил. Очнулся лишь, когда в голову пришла мысль о том, что он еще раз собирался позвонить Паше Смеляку.

Смеляк, Смеляк. Удобно ли звонить? Ведь в Свердловске, наверное, время сейчас уже совсем позднее...

Удобно. Локтев собрался было сходить к телефонам-автоматам, но потом отмахнулся от этого желания: зачем идти, когда телефон в доме имеется. Поймал себя на мысли, что раньше он почему-то из дома не звонил, все к автоматам ходил... Наверное, потому, что ему хотелось видеть людей, общаться с ними, жить как можно более полной жизнью, а не киснуть в одиночестве, не чувствовать себя окончательно затворником.

Снял трубку, поморщился от назойливо-тонкого пищания гудка, набрал номер междугородной станции и попросил телефонистку соединить со Свердловском. И, если можно, поскорее — пусть заказ будет срочным. Очень срочным.

Ощущение боли, горечи, какой-то странной, схожей с язвой затравленности не проходило. Он крепко закусил зубами нижнюю губу, сдерживаясь. Задал сам себе вопрос: а только ли из-за Паши он задержался на Большой земле, не ушел в горы? Нет ли тут какой-нибудь другой причины? Может, он уже безнадежно постарел, ослаб,

и дороги в горы вместе с сильными молодыми людьми, которым он явно уже не подходит в соперники, нет?

Локтев неприятно pokrивился лицом, подвигал челюстью, будто его ударили кулаком, и теперь он прожевывает этот удар, словно сухарь, старается освободиться от него. Он неожиданно понял, что сейчас из состояния душевного клинча, потерянности его может вытащить только Паша, только он один, спасенный Локтевым человек. Если Паша переберет страх перед горами, перед своим прошлым, перед ощущением постоянного падения с обледенелой стены и найдет в себе мужество вновь поехать на Памир, то Локтев спасен, он, так же как и Паша Смеляк, вновь обретет себя после сегодняшнего удара, одолеет одиночество, боль, тоску, снова станет самим собой. Если же Паша скис и в нем окончательно оборвалась нить, связывающая его со временем, оставшимся позади, с людьми, умеющими ради других рисковать, а то и жертвовать собой, добывать победу в изнурительной борьбе и не плакать, когда разбивается друг, а продолжать его дело, — если нить эта оборвалась и Паша Смеляк надломился, то тогда, видимо, суждено окончательно надломиться и Локтеву...

Минуты ожидания были долгими, щемящими, страшновато-пустыми, полностью лишенными каких бы то ни было звуков. Когда телефон заливисто, оглушающе звонко зазвенел, Локтев даже вздрогнул. Взял себя в руки, прошел на кухню, поднял трубку. И сразу же услышал далекое, сдобренное щелканьем, словно где-то горел костер, Пашино: «Алло!»

— Это Локтев. Ло-октев тебя, Паша, беспокоит, — проговорил он медленно, слушая собственный голос и одновременно голос эфира, стараясь угадать заранее, как Паша поведет себя, что ответит...

— Чую, чую, — совершенно бесцветно проговорил Паша, и Локтев, не думая о том, что бесцветность эта, возможно, со сна (час-то вон какой поздний), сгорбился, ощутив неожиданно — Павел Смеляк больше никуда и ни за что не пойдет, ни в какие горы — все, отходилась он, увяло в нем биение жизни, угас голос.

— Я тебе несколько раз звонил, — по инерции пробормотал Локтев, морщась.

— Знаю, — сказал Паша. Помолчал. — Я к телефону не подходил. Когда междугородка звонила, я боялся трубку брать, а сейчас вот... Сейчас взял, — в голосе его появились решительные нотки. — Ну что, крестный? Я готов идти в горы! Рюкзак собран, консервы сложены, ледоруб в боевом положении!

Боль, натекая Локтеву в виски, давившая на голову, мешавшая дышать и думать, сразу ослабла, будто прорвало нарыв, и Локтев

ощутил неожиданно, что у него дрожат, буквально трясуном ходят, как у психованного, руки. Он отставил трубку далеко от себя и, совершенно не слыша обеспокоенного Пашиного «алло, алло, алло!», раздвинул губы в улыбку.

Посмотрел трезвыми, осмысленными глазами вокруг, скользнул взглядом по стенам, по столу, на котором лежали шампурь с засохшими кусочками мяса, стояло недопитое вино, поглядел в окно, где по-прежнему мерно и нудно брэнчал о железную крышу холодный, совсем не летний дождик и вели свой печальный ночной разговор сосны, да еще, скраденные расстоянием, изредка всхлипывали волны залива, зашевелил губами беззвучно, чувствуя, как предательски подрагивает подбородок...

Дождь этот пройдет, он обязательно кончится, а с ним истает, удалится в бывшесть и ночь. И възграет своими чистыми красками утро, выведется простор, наступят желанные сухие дни, столь любимые отпускниками, — с нежарким, но едким, оставляющим прочный загар солнцем, с нежной, прозрачной водой залива, с белым, мелким, как крахмал, песком и редкими тоскливыми криками чаек.

Но вот какая вещь: в хорошую летнюю погоду люди, живущие в Юрмале, обязательно вспоминают осенние дожди, низкое серое небо, вызывающие ощущение печали, вспоминают тревожный шум мокрых сосен, проросших сквозь дюны, и тоскуют об этих днях... А точнее, тоскуют об осени. То ли приближение ее чувствуют, то ли просто думают о ней, ибо знают, что законы природы нерушимы — вслед за летом обязательно наступит осень. И приближение ее неминуемо.

## А ВАМ ВСТРЕЧАЛИСЬ В ЖИЗНИ ЧУДАКИ?

Каждому из нас в жизни обязательно должен повстречаться чудной человек. Чудаков в народе называют по-разному: то «малохольными», то «чокнутыми», то «с приветом», некоторые говорят, что у таких людей «шарики за ролики зашли», словом, у каждого имеется свое определение.

Довольно много лет назад я приехал в Москву поступать на факультет прикладного искусства текстильного института. Приехал с периферии — из небольшого приокского городка, тихого, пахнущего яблоками, нафталином, созревшим деревом старых купеческих сундуков, — и являл собою этакого неуклюжего, заикающегося,

боющегося любого разговора, особенно с дамами, детину с красными жилистыми руками, порченными каустиком (я работал на химическом заводе), в стоптанных башмаках и голубой рубашке с самодельными погончиками. Чемоданишко у меня был еще довоенный, отцовский, из картона, с клопиными следами в пазах; в нем, глухо стучаясь о стенки, болтались две или три книжки, мыльница, зубная щетка в пластмассовом футляре и банка консервов. Сдал я документы в приемную комиссию, и их, как ни странно, у меня почему-то приняли (хотя принимать, как я сейчас разумею, вовсе не следовало, ведь я так и не работаю по специальности). Выдали на руки расписку и серенький «слепой» квиток — направление в общежитие.

Общежитие текстильного института находилось недалеко от учебных корпусов, в тихом и зеленом проулке, который походил на асфальтированную беговую дорожку и совсем не оправдывал свое довольно громкое название — он числился проездом (2-й Донской проезд, дом 7/1 — вот как будет это звучать с точки зрения блюстителей почтовых законов) рядом со знаменитым Домом коммуны. Дом коммуны, который также был студенческим общежитием, мы прозвали небоскребом. Это был лежачий небоскреб, около которого время от времени останавливались различные провинциальные зеваки вроде меня, глазели, открыв рот, гадая, кто же положил этот небоскреб на землю и почему он растет не вверх, а стелется по проулку, упираясь одним своим концом в трамвайные линии, а другим примыкает к неказистому кирпичному зданию, схожему с овощехранилищем. Неказистое кирпичное здание, схожее с овощехранилищем, и было общежитием студентов-текстильщиков.

Вход в общежитие охраняли две одинаково круглоликие бабули, очень похожие друг на друга, будто сестры-близнецы. И очки в коричневой пластмассовой оправе, аккуратно насаженные на носы-кнопочки, а сзади подвязанные бечевкой, и строгий взгляд карих линиялых глаз, и румяные, смахивающие на свежие булочки щечки, — все у старушек было одинаковым. Только вязанье у них было разным: одна вязала черный узкоплечий свитер с высоким воротником, похоже, женский; другая — толстый мужской носок огромной величины. Такой носок можно было не только на человеческую ногу надеть, а и на тракторную гусеницу.

Увидев меня, бабули отложили вязанье и учинили допрос: кто я таков, откуда приехал, где живут мои родители, работал ли я после школы на производстве, женат или нет: «Ах, не женат? Почему?» Их волновало буквально все. И почему у меня плохо усы растут, и зачем к рубашке пришиты погончики, и знаю ли я, сколько денег зарабатывают художники средней руки, и если не знаю, то почему же поступаю на этот факультет.

В общем, учинив строгий допрос, бабули поглядели на свет квиток-направление, проверили его подлинность, а потом, смилостивившись, впустили меня в дом. Пояснили назидательным тоном, что комната моя находится на третьем этаже правого крыла.

— Там маляры ваши живут. Самый грязный этаж. Помещение в конюшню своими красками превратили, художнич-чки, — презрительным тоном бросила мне вдогонку одна из старушек.

— Истинно маляры, художнич-чки конюшенные, — подтвердила другая бабуля. — Малюватели. Что ни нарисуют, все не похоже. Человек на человека не похож, картоха на картоху, яблоко на яблоко. И чего их только в институте держут?

Общежитие действительно было донельзя пустым — шаги так гулко звучали и распространяли такое беспардонно оглушающее эхо, что, казалось, идешь не по деревянному, крашенному казенной коричневой краской полу «общаги», а по навощенному зеркальному паркету дворца, где все звенит, стучит, вызывает многократный отзвук. Добравшись до крыла, где жили «малюватели», я заглянул в одну комнату — пусто, во вторую — пусто, в третьей — тоже пусто. Никто не жил и в четвертой, и в пятой, и в шестой комнатах — везде было оглушающе тихо. Комнаты были узкими, тесными, в каждой стояло по три, а то и четыре кровати.

Я затащил в комнату, что была указана на квитке, свой обшарпанный, крытый апельсиновым дерматином картонный чемоданишко, плюхнулся на матрас, подняв клуб пыли, и бездумно уставился глазами в потолок — сиротливо мне что-то делалось в этом огромном безлюдном общежитии. Плохо здесь быть одному.

Не знаю, сколько времени прошло — наверное, много, — прежде чем я услышал далекий тонкий звук. Вернее, какое-то странное птичье попискиванье. Писк то усиливался, приближаясь, то вдруг слабел, уходил в небытие, и поэтому я не сразу понял, что же это такое. Понадобилось еще несколько минут, чтобы определить: в тесных серых комнатах, расположенных по обе стороны унылого темного коридора, длинного, как городская улица, я не один, здесь есть еще кто-то. Честно говоря, это открытие обрадовало, и я — что было вполне естественно — рывком поднялся с койки, будто ужаленный током.

Вскоре я нашел загадочного свистуна! Он находился в своей комнате в самом конце коридора, в последней келье справа по ходу. Был свистун такой худой, что своею худобой вызывал тревогу, он буквально светился насквозь, словно был создан из какой-то странной неземной ткани. Сквозь голубоватую прозрачную кожу были видны плоские, вызывающие жалость хрящи, непрочные, готовые вот-вот порваться жилы. Лоб у свистуна был высоким, переходящим в лысину, волос имелось немного, — на один кухонный скандал, как

говорится, и завивались они в немислимые мелкие кудряшки, словно у высокопородной овцы, стояли торчком, обнажая розовое темя. Тщательно выскобленные щеки обрамляли длинные пушкинские бакенбарды, густые, с сильным рыжим отливом. Глаза у свистуна были большими, выпуклыми, немигающими.

Перед этим тоненько посвистывающим парнем — а звук, свист сам был действительно излишне тонким, странным, каким-то неземным — стояло сразу три мольберта с небрежно прикнопленной к ним бумагой, рядышком — стул, две коробки с акварельными красками, наполовину вылизанными из хрупких пластмассовых кюветок, и банка с грязной, масляно поблескивающей водой, куда эта бродячая тень, мастер художественного свиста, окунал кисть.

Одет свистун был по моим провинциальным понятиям роскошно, хотя и несколько необычно для жаркого июльского дня: в черный, тщательно отутюженный костюм-тройку, в сероватую, давно уже не стиранную рубашку (судя по всему, когда-то она была белой), воротничок которой украшал импозантнейший актерский галстук-бабочка из блестящего черного репса.

И вот еще что было, и это, конечно, поражало более всего: с одной ноги у этого парня был снят лаковый, потрескавшийся на сгибах ботинок, свистун стащил с ноги и носок, затем двумя пальцами босой ноги зажал кисть и делал ногой эскизы, а вернее, рисунки, на которых были изображены какие-то невероятно модные, с длинными вытянутыми фигурами человечки. Ногой делал, ногой, вот как! Ловко, быстро, лихо, будто не человеком был этот парень, а обезьяной.

Руки он держал сложенными на груди, словно государь-император, принимающий купцов плебейского происхождения.

Я поздоровался. Но свистун на приветствие, будто настоящий император, — ноль внимания, как и на меня самого. Словно я и не стоял на пороге его комнаты.

Всюду: на кроватях, тумбочках, стульях, на полу, подоконнике — лежали аккуратно нарезанные восьмушки ватманской бумаги с нарисованными на них длинными вихлястыми человечками. В кепках, без кепок, с шарфами, вьющимися на ветру, и без оных, в пальто, плащах, куртках, в роскошных костюмах, сшитых из невиданных тканей, с загорелыми худыми лицами и веселыми глазами. Эскизы были талантливые, броские, смелые — не надо даже быть художником, чтобы понять это.

Я вторично поздоровался с парнем, и в ответ снова ни слова, ни мыка, лишь тоненький носовой посвист, который этот лихач довольно умело выдавливал сквозь расщелину в передних зубах. Кисть, зажата в ноге, шустро перепрыгивала с листа на лист, разбрызгивая краску, оставляла после себя решительные акварельные мазки.

Прошло всего несколько минут, пока я стоял в комнате, — и все три эскиза, приклепленные к мольбертам, были уже готовы.

Парень решительным жестом сорвал их, бросил на пол, приподнялся на стуле, чтобы с высоты посмотреть на сделанное, оценить взглядом продукцию. Кисть он так и не выпустил из босой ноги, и теперь стоял, поджав конечность под себя, словно гусь на снегу. Эскизы парню понравились, исправлять в них он ничего не стал. Не прекращая свистеть, он выдернул кисть из пальцев ноги, окунул ее в банку, размешал там воду, подняв со дна всю собравшуюся цветастую муть, и, помогая себе руками, подковылял на одной ноге к стенке, где было укреплено простенькое зеркало. Мазнул грязной акварельной кистью себя по щеке, посмотрел на собственное отражение, несколько не удивляясь тому, что сделал, потом потянулся к щербатой роговой мыльнице, ко дну которой присох прозрачный, тонкий, как бумага, обмылок, повозил кистью туда-сюда.

Намылил вначале одну щеку, потом другую, ловким стремительным движением выхватил из тумбочки дешевый безопасный станок, вложил в него лезвие и, приподняв собственное лицо за нос, начал бриться. Хотя бриться, по-моему, не надо было — лицо свистуна, украшенное пушкинскими баками, было чистым. Тем не менее он поскоблил вначале станком над верхней губой, потом под нижней, несколько раз провел по щекам и шее, оглядел себя внимательно в зеркало. Улыбнулся. Судя по всему, он остался собой доволен.

Сунул станок в банку, поболтал там, смывая пену и мелкие, как пыль, срезы щетины, провел по лицу полотенцем, что висело на спинке кровати, и только тогда повернулся ко мне.

По-гусарски лихо пристукнул босой ногою об обувь, проговорил высоким пацаньим голосом:

— Извините, не побрившись представляться не могу. Студент третьего курса факультета прикладного искусства Борис Степанович Хворост. Группа двадцать два-пятьдесят семь, отделение моделирования изделий из ткани. А это, — он повел рукою по комнате, где были разбросаны ватманские восьмушки, — как вы, наверное, изволили догадаться, моя продукция.

После этих слов многоуважаемый Борис Степанович Хворост сунул мне сложенную рыбешкой вялую узкую руку. Ладонь у него была горячей и потной. Судя по всему, перегрелся парень, перетрутился, пока корпел над эскизами.

Я посмотрел на его босую ногу, которую он продолжал по-гусиному держать на весу. Поймав мой взгляд, Хворост стукнул ногою о ботинок, вторично издал гусарский хлопок и тут же снова поднял, поджал под себя. Засмеялся.

— А-а-а, не обращайте внимания,— переварив в себе пережженный взгляд, пояснил: — Просто, ногой я делаю эскизы гораздо лучше, чем рукой. Парадоксально, но факт.— Он нервно дернул головой, выпячивая вперед подбородок, зачем-то издал губами звук пробки, вырванной из тесного обжима бутылочного горлышка.— А вы, сударь, как я разумею, собираетесь важный жизненный шаг совершить, да? Извольте на наш факультет поступать, так? Я не ошибся?

Речь его была манерной, старомодной, но — вот странно — не коробила слух. Ни интонация, ни растянutosть, ни окраска слов, ни даже пресловутые «сударь», «извольте» и прочее — ничто это не коробило. Хотя слово «сударь» и звук выдернутой из бутылки пробки, често говоря, мало уживались друг с другом.

— Располагаете ли вы, сударь, какими-нибудь свободными деньгами? — вдруг осторожно поинтересовался Хворост.

— Какими-нибудь — да,— ответил я, довольно смутно представляя, что такое «свободные деньги». Свободных, иначе говоря, лишних денег никогда не бывает.

Лицо Хвороста оживилось, на синеву щек напoлзла легкая розовая тень.

— Тогда, сударь, я предлагаю сходить в парк, выпить там пива с леденцами. Это невероятно вкусно. Я больше чем уверен, вы никогда не пробовали пива с леденцами. Я угадал?

Конечно же, он угадал. Ведь только сумасшедший может пить пиво с леденцами. С воблой, с солеными ржаными сухариками, с селедочными бутербродами — да, а с леденцами — извините...

— Пойдемте, пойдемте,— потянул Борис Хворост меня за рукав.— В парк имени товарища Горького. Это совсем недалеко. Есть там роскошнейший пивной ларек.

Мы пришли не в ЦПКиО имени Горького, а в Нескучный сад. Здесь царилa благостная тишь, прерываемая пением птиц.

Чем ближе мы подходили к пивным павильонам, тем все более нервной, подпрыгивающей делалась походка Бориса Хвороста. Он то убыстрял шаг, то вдруг, остановленный кем-то невидимым, замедлял ход и с безразличным видом срывал с кустов листья. Чувствовалось, что некое, чересчур сильное желание одолевает его.

Едва мы купили четыре кружки пива — по две на каждого, а в картонную тарелку продавщица насыпала десятка полтора чешских леденцов-сосулек в красных обертках, как Борис Хворост схватил одну из кружек, стремительно уткнулся в плотную пенную шапку лицом. Отпил немного. Свербение, сидевшее в нем, мгновенно улеглось, и он сразу же превратился в безобидного, добродушного чудачка, этакoго милого созерцателя жизни. С орлиным видом

осмотрел высокие, стоящие на длинной хромированной ноге столики, находящиеся справа от нас, ничего примечательного не нашел, столики были пусты, потом оглядел те, что слева, но и там, кроме двух красных забулдыг, тоже никого и ничего заслуживающего внимания не было. Сморщил лоб, закрывая себе глаза локтями, проговорил:

— Сюда иногда такие девушки приходят пить пиво, такие... — Он, странное дело, не сразу нашелся, с кем можно было сравнить девушек — любительниц пива, и, чтобы хоть как-то заполнить паузу, издал тонюсенький носовой свист. — Таких и в Большом театре не сыщешь. И в ансамбле «Березка» таких нет, сударь.

Отпив еще немного пива, Борис Хворост медленными, очень точными, наверное, не раз выверенными перед зеркалом движениями расстегнул пуговицы своего черного пиджака. Пуговиц на пиджаке было три, причем к каждой у Бориса имелся свой подход, свое движение. Затем он медленным, исполненным неподдельного благородства жестом отодвинул (другого слова тут не подберешь, именно отодвинул, как дверцу шкафа) в сторону одну половину пиджака. Довольно широко отодвинул, но не настолько, чтобы были видны дыры в шелковой подкладке. Зацепился большим пальцем правой руки за специальную петельку, которая была пришита к боку жилетки. Таким образом, борт пиджака оказался зажатым его рукой, как портера тугим держателем, взорам окружающих — двух ошарашенных забулдыг и смятенного провинциала — предстала во всей красе, поблескивая на солнце каждым сгибом, каждым звеном, хорошо начищенная полумедная-полузолотая часовая цепь. Цепь тянулась из-под мышки, слева направо, через весь живот и была засунута одним концом в специальный небольшой кармашек. Кармашек был расположен на жилетке почему-то справа, а не слева, как обычно. Видимо, портной не очень-то представлял, для чего этот кармашек нужен. Но все это детали, сущие пустяки по сравнению с эффектом, который производила сияющая в летнем ярком свете цепь...

— Так о чем же мы говорили с вами, сударь? — словно бы спохватившись, воскликнул Хворост, как ни в чем не бывало отпил пива из кружки, отер ладонью испачканное пеной лицо. — М-м-м... — Он нетерпеливо притопнул лаковым полуботинком. Вскинулся. — Вы случаев не знаете, почему кавказцы носят большие кепки? Нет? Чтобы брюки не выгорали. — Рассмеялся своей шутке, похрумкал леденцом, наморщил лоб. Прическа смешно скакнула вперед. В Хворосте, кажется, что-то заело сейчас, застопорилось, он никак не мог вспомнить, о чем же шла речь ранее, что интересного он рассказывал. Так и не вспомнив, он неожиданно погрустнел, на лицо

наползла тяжелая, совершенно не типичная для его характера печаль, вытемнила глаза, впадины под скулами, низ подбородка. Хворост заморгал часто, словно под веки ему попала пыль, проговорил тихо, в себя: — А ведаете ли вы, как прекрасно бывает здесь, в Нескучном саду, в тоскливую осеннюю пору, а? Когда тихо и никого кругом нет? На черной мокрой земле уже кое-где лежит снег, неподалеку кричат вороны. Эти пивные ларьки закрыты. На длинных грядках-газонах растут астры. Цветущие, белые, лежат сплошным рядком. Они тут цветут даже в заморозки. Поздние осенние астры. — Борис Хворост задумчиво вздохнул. — Уже холодно, уже заморозки по ночам, сыро, снег постоянно падает с небес, а астры цветут. На дворе конец ноября стоит, а они все цветут и цветут. Но вот какая вещь, сударь, — кроме цвета и красоты, у астр ничего нет. Ни запаха, ни вкуса — ничего. Снег на них не садится, птицы не приближаются... Ведь и люди такие есть, как эти астры, — ничего в них, кроме внешнего вида. — Он помолчал немного, погружаясь в себя. Потом всплыл на поверхность, помахал сам себе рукой. — Как же это так — ничего в цветах нет? А стойкость, мужество, с которым они сопротивляются морозам? А то, что они, несмотря на снег, цветут? Вот за что я люблю поздние осенние астры. — Голос у Бориса Хвороста был удивленным. Он, похоже, сделал для себя открытие. — За мужество их люблю, за стремление жить. Даже тогда, когда жить уже нельзя.

Борис Хворост снова замолчал. На сей раз основательно. В молчании мы допили пиво, доели леденцы. Как ни странно, мне пиво с леденцами понравилось. Хотя позже нигде, ни в какой другой компании ничего подобного уже не удавалось ответить. Это ведь все равно что джем с перцем или ржавая закишенная селедка с липовым медом, — ни в какие ворота, говоря студенческим языком, такая гастрономия не лезет. Двинулись назад, к себе в общежитие.

По дороге я спросил у Бориса Хвороста, почему он не едет на каникулы домой. В ответ он небрежно махнул рукой, но потом помрачнел, на лицо опять, как и в прошлый раз, наползли тени.

— Понимаете, сударь, нет мне дороги домой. И не потому, что дома не хотят принять, нет. Дело в том, что я несколько не сошелся в оценке собственной персоны с... преподавателем композиции. Не надо быть Сократом, чтобы определить следующую вещь: если возникают разногласия между преподавателем и студентом, то на чьей стороне бывает верх? — Он мрачно вздохнул. — Вот мне и перенесли экзамен на осень, на послеканикулярный период. Чтобы в следующий раз разногласия больше не возникали.

Некоторое время мы шли молча.

Но вот навстречу нам попала девушка. Очень даже ничего девушка, не каждый раз такие попадаются. Борис Хворост вмиг

взбодрился, прочистил горло, поправил галстук-бабочку и, несколько приоткнув полу пиджака, так, чтобы была видна щегольская металлическая цепь, подпрыгивающим шагом двинулся навстречу, весело пошивыстая и крутя пальцем колечки цепи. Ох, как неузнаваемо преобразился он, буквально на глазах похорошел! Словом, это был настоящий кавалер. Костялый, сверкающий, способный вскружить голову любой представительнице прекрасного пола, беззаботный, будто мотылек. Я даже остановился и застыл посреди тротуара. Но, видно, девушка, как и Борис Хворост, тоже знала себе цену, — ничего у него не получилось. Девушка прошла, почти не заметив Бориса Хвороста, словно мимо неодоушевленного предмета. Неудача нисколько не задела любителя пить пиво с конфетами и конфликтовать с преподавателями композиции, он на ходу медленно повернул голову.

— Так на чем мы с вами остановились, сударь?

Честное слово, я уже и не знал, на чем мы с ним остановились...

Один за другим потянулись дни упорной работы, когда по двенадцать — четырнадцать часов мы, донельзя замученные, забытые, тихие абитуриенты, запуганные всем и вся, и в первую очередь собственной решимостью (надо же, до чего обнаглели ребята — вздумали поступать на факультет, где конкурс двадцать шесть человек на одно место), рисовали гипсовые головы великих мудрецов древности, писали акварельными красками натюрморты, корпели над учебниками по истории и литературе, — словом, довольно серьезно готовились к экзаменам. В эти дни Борис Хворост исчез — может, уехал к родителям, может, куда-нибудь на юг подался, бегая зайцем из одного вагона в другой, опасаясь преследования и мести со стороны контролеров, может, забившись в глухой, темный угол, творил эскизы: ведь схватка с преподавателем композиции — вещь серьезная; а может, просто в горячей сутолоке будней я его не замечал.

Когда закончились экзамены и на огромной черной доске объявлений, что находилась в главном корпусе текстильного института, в святая святых — ведь там располагался ректорат, — вывесили список принятых в институт, я обнаружил в числе счастливых и свою фамилию. Радости не было конца. В тот же вечер мы, шесть или семь «общежитейцев», принятых в институт, сбросились, складывая в одну кепку мятые, затертые на сгибах абитуриентские рубли, оставленные на худой день, про запас, чтобы купить тарелку супа и кусок хлеба, и приобрели в магазине две бутылки водки. Наш праздник — поступление на такой мировецкий факультет, ведь художниками будем, — вы представляете, художниками! — надо было отметить. И, думаю, никто из старших, ежедневно провозглашающих: «Пьянству — бой!», не стал бы порицать нас в тот день.

Едва мы разложили наше богатство на столе, как дверь комнаты бесшумно растворилась, словно была смазана сливочным маслом, и на

пороге возник Борис Хворост, уже почти забытый — ведь вон сколько он отсутствовал, — подтянутый, прямой, как гвоздь, одетый в свою неизменную черную тройку. Поправил на горле галстук-бабочку, улыбнулся ослепительно, озарив нашу тусклую, унылую комнату чем-то лучистым, светлым. Присвистнул по обыкновению тонко.

— Сударе, — он так и произнес «сударе», с «е» на конце, — я пришел поздравить вас! — Хворост молитвенно поднял глаза вверх. Казалось, еще минута — и он рухнет на колени, чтобы воздать хвалу студенческому богу, благодетельствовавшему нас. Но, увы, этого не произошло.

В правой руке Борис Хворост держал довольно увесистый покоробленный портфель, здорово смахивающий — и размерами и конструкцией — на чемодан. Портфель был сшит из толстой свиной кожи, изготовленной, видать, для ботиночных подошв, но потом по каким-то причинам (наверное, потому, что свиная кожа пропускает воду, как губка, и на подошвы не годится) пущенной в галантерейное дело. Некогда блестящие латунные замки позеленели и даже, кажется, прогнили от времени. В общем, портфель был древним, как мумия известного египетского фараона, внушительным, словно пирамида Хеопса, вместительным, будто железнодорожный вагон-пульман, — качества, за которые владелец портфеля, судя по всему, любил его. А ржавость и покоробленность кожи, вылезшие из прорех нитки и безобразность разваливающихся замков — это все пустяки, суета сует, преходящее.

Пройдя к столу, Хворост сел на койку рядом со мною, не глядя, сунул узкую вялую ладонь:

— Здравствуйте, сударь.

Портфель он поставил на колени. Поковырявшись немного в замках, с противным ржавым скрипом раздвинул обе половинки портфеля, обнажая черное, пахнущее осенними грибами нутро. На дне портфеля, словно блошка в гигантском резервуаре, болталась помятая алюминиевая кружка.

Как я давно не видел таких кружек, они просто куда-то исчезли, словно были сняты с производства. Кружка эта была так памятна по послевоенному непростому детству, когда мне пришлось скитаться по дальневосточным и сибирским железнодорожным станциям, — на каждой станции имелся бачок с кипятком, который очень часто выпрেনне именовали титаном. Так вот, к бачку-титану обычно была привязана, а точнее, прикована прочной цепью многострадальная, сплошь в прорехах и вмятинах алюминиевая кружка.

Когда Борис Хворост достал эту кружку со дна портфеля, я даже шею вытянул в невольном ожидании: а где же обрывок цепи?

Тем временем Борис Хворост к колоннаде стаканов, куда уже была налита водка, пристроил свою кружку, вылил в нее водку из

стакана, потом туда добавил крепкой горькой жидкости из бутылки. Заглянул одним глазом в свой алюминиевый сосуд, будто любопытный ворон.

Все молча чокнулись, каждый отпил из своего стакана немного водки. Хвост внимательно, даже излишне внимательно следил за тем, как ребята уничтожают «огненную воду». Подождал, когда все поставят стаканы на стол, потянутся за закуской и лишь затем поднял свою алюминиевую многострадальную кружку. Поднес ее ко рту.

Но нет, пить он не стал — у Бориса Хвоста на этот счет, видно, имелась своя теория и был разработан довольно сложный и красочный ритуал. Он, округлив ноздри, втянул в себя водочный запах, пропуская его глубоко в легкие, с шумом, будто бегун на длинной дистанции, выбросил воздух из ноздрей. Бледная, полупрозрачная кожа на Борисовом лице налилась легкой неплотной розовиной — розовина проступила изнутри, словно жидкость, в глазах появилась жизнь, неподдельный интерес ко всем нам, кто сидел сейчас в этой общежитейской конуре, занимался делом, за которое старшие бы по голове нас не погладили... Шевельнулась, смешно запрыгала прическа. Затем, помедлив чуть, отставил немного кружку от себя и, вывинчивая шею из воротника рубашки, словно болт, приблизился к кружке сложенными в трубочку губами, коснулся края, махом опрокинул алюминиевый сосуд на себя.

Казалось, водка должна была залить ему лицо, обжечь глаза, ноздри, кожу щек. Ничего подобного не произошло. Ни единой капельки у Бориса Хвоста не пролилось, вся кружка пошла точно по назначению. Причем водка у него в горле, где существует естественная преграда, не задержалась, она сразу, единым потоком пролилась в желудок, спокойно растеклась там по закоулкам, сусекам, емкостям.

Медленным, величественным движением поставив кружку на стол, Борис отодвинул ее от себя, щелкнул ногтем по многострадальному помятому боку, потом начал расстегивать пуговицы пиджака, делая это одухотворенно, значительно, красиво, осознавая важность и необычность того, что делает.

Расстегнув пиджак, он знакомым замедленным жестом отвернул борт, но, как и в прошлый раз, когда мы пили пиво в Нескучном саду, не широко, чтобы не было видно прорех в подкладке, удовлетворенно отметил изумление, возникшее в глазах ребят при виде его сверкающе-желтой часовой цепи. Красивым жестом — Борис все делал красиво, именно красиво, другого слова тут, пожалуй, не подберешь, — оттопырив, будто купеческая дочка, мизинец на правой руке, он запустил щепоть из трех пальцев в часовой кармашек, куда был

засунут нижний конец его роскошной цепи. Из кармашка он вынул не часы, нет...

Вытащил маленький, тоненький, покрывшийся от времени черной гречкой сухарик, который был специальным колючком прикреплен к цепи, чтобы не потерять. Поднес сухарик к носу и, сплющив пальцем одну ноздрю, затянулся добрым хлебным духом, потом зажал другую ноздрю, снова затянулся, затем кашлянув довольно, медленным округлым движением засунул свою «долгоиграющую» закуску обратно в кармашек. Мизинец свой, будто маленький пистолетик, готовый в любую минуту выстрелить, Борис Хворост держал оттопыренным. Он словно учил нас: наматывайте на ус, салаги, усваивайте, пока я жив, светские манеры, без которых и дня в Москве невозможно просуществовать.

Увидев, что водки больше нет и питоки из нас неважные — одно только название, Борис Хворост поднялся с койки, снова распахнул свой огромный, выдать, в годы войны по ленд-лизу полученный из США портфель, сунул туда кружку.

— Сударе, я вынужден расстаться с вами,— произнес он торжественным и одновременно полным сожаления голосом, озабоченно поправил галстук-бабочку,— меня ждут дела, ни минуты больше нет.

Некоторое время мы слышали шаги нашего гостя в коридоре, потом шаги эти стихли.

Борис Хворост обладал уникальнейшим, совершенно безошибочным чутьем. Он мог пройти по длинному коридору нашего общежития и, слегка притрагиваясь кончиками пальцев, буквально ногтями к дверям, абсолютно точно определить, чем занимаются жильцы, сидящие в комнатах-кельях. «Здесь идет зубрежка, материаловедение ребята готовятся сдавать, здесь эскизы клепают, здесь чистят картошку, чтобы сытно поужинать, сало кто-то из деревни получил, как раз к картошке, тут глядят брюки, хлопцы на танцы в клуб «Красного пролетария», по соседству с общежитием, собираются пойти, здесь... О-о, здесь имеется нечто... Хворост многозначительно поднимал указательный палец.— Тут хлебным духом пахнет, какую-то торжественную дату сударе собираются отмечать. Кажется, день рождения». Он никогда не ошибался.

Стипендия у нас была маленькой — на такую не пороскошествуешь. За три дня до нее мы стреляли друг у друга двугривенные, чтобы съесть тарелку щей в дешевой рабочей столовой «КР-пр», как мы сокращенно называли завод «Красный пролетарий». Хорошо, что хлеб в столовой был бесплатным и с тарелкой щей можно было смолотить две тарелки мягкого, душистого, невероятно вкусного хлеба. Очень часто в канун стипендии случалось, что завтрак наш состоял из

ничего, из подтягивания брючного ремня на несколько дырок, обед — из тарелки щей, приобретенных на одолженный двугривенный, ужин — из «белой розы», — так мы величали чай без заварки и без сахара, и потому каждый из нас завидовал, мечтал: хорошо бы иметь чутье Бориса Хвороста. Он ведь вон как поступает — пройдет по нашему необъятному общежитию, определяя, где еда повкуснее готовится, и открывает дверь без всяких «предисловий», объяснений, зачем пришел, что намерен делать, и прочее и прочее. Бориса Хвороста, несмотря ни на что, любили. Так, вполне возможно, любят только чудачков да домашних животных — какого-нибудь песика. Пользы от песика в общем-то никакой, но зато душу греет сознание того, что в доме находится благодарное преданное существо. Причем, должен заметить, что дважды на неделе в одной и той же комнате Борис Хворост никогда не бывал.

Потом я как-то узнал: для того, чтобы не повторяться, он даже специальный график имел. С делениями-клеточками, где отмечал все свои походы на предмет «заправки» желудка.

На факультете из курса в курс передавалась анекдотическая история о первых днях, а точнее, месяцах пребывания Бориса Хвороста в институте, когда еще не была налажена система гостевания, когда его не знали в комнатах общежития, — а здесь обитают не только студенты-художники, но и будущие механики, химики, технологи, под нами, например, располагается целый этаж студентов-экономистов, на первом этаже живут рабочие института (у нас, в текстильном, имеется несколько ткацких и трикотажных цехов, где проходят практику будущие командиры производства, машин множество, станки эти надо обслуживать, так что рабочих в институте предостаточно, как на самой настоящей фабрике) — так вот, Борис Хворост, как рассказывают, получив стипендию, считал за обязанность непременно появиться в дымном крохотном ресторанчике, расположенном неподалеку от общежития, на Ленинском проспекте. Там с небрежным купеческим видом он разваливался на стуле, прищелкивал пальцами, подзывая: «Эй, человек!» Приходил «человек» — официант. Борис Хворост, взяв в руки лакированное ресторанный меню, прикрывал ладонью левую часть, где были написаны названия блюд, оставлял свободной правую, где столбиком располагались цены, и тыкал пальцами в цифры: «Вот это принеси... Это... это... это...» В общем, он проедал и пропивал свою стипендию в двадцать пять — тридцать минут, потом неделю ходил голодный по факультету, шатаясь из стороны в сторону, и в конце концов падал от истощения в обморок. Приезжала «Скорая помощь» и увозила его в больницу до следующей стипендии.

Но потом жизнь у Бориса Степановича Хвороста пошла по иному пути, сделалась, что называется, сытной. И все из-за фантастического

дара Бориса Хвороста, редкого чутья. Выходил он, например, утром из станции метро «Сокол», зная, что неподалеку, около пищевого института, живет его приятель Володя, с которым он когда-то случайно познакомился на танцах в «парке имени товарища Горького». И вот такая вещь: Борис точно знал, что через пятнадцать минут его приятель сядет завтракать. Еще не побывав у него, Борис Хворост ведал, что у Володи на столе будут паровые котлеты с соусом, картофельное пюре, салат из свежих огурцов, сардины — банка, правда, початая, но на вкусовые качества сардин это не влияет, — и консервированный кофе с молоком. Хворост ехал к Володе и звонил в дверь в тот самый момент, когда ничего не подозревающий шапочный приятель его, аккуратно разложив еду перед собой, собирался приступить к трапезе. Не пригласить за стол товарища, пусть даже знакомого едва-едва, мимолетно, в такой ситуации естественно, неудобно.

Так Борис Хворост завтракал.

На обед он тихо сматывался с лекций и ехал на троллейбусе, допустим, к универмагу «Москва». Там, в доме напротив, жил его друг Лев — не далекий и не близкий, такой же, как и Володя, приятный интеллигентный парень из категории тех, кто никогда не откажет. Уже в троллейбусе Борис Хворост знал, что у Левы сегодня готовится довольно роскошный обед — будет украинский борщ, заправленный душистыми шкварками (при мысли о борще Борису становилось не по себе — ему жутко хотелось отведать этой куснятины, зачерпнуть ложкой побольше шкварок, что ломило зубы, чесался язык и текла слюна), на второе — дивная рыба осетрина, еще у Левы есть компот и полбутылки холодного красного вина. Хворост приезжал к Леве в тот момент, когда тот, расставив тарелки с едой на кухонном столе и добыв вино из холодильника, весело потирал руки, решая, с чего же ему начать трапезу. В это время раздавался звонок в дверь...

Вечером уважаемый Борис Степанович Хворост ехал на улицу Горького, где снимал квартиру его знакомый Игорек, недавно закончивший нефтяной институт и получивший распределение в Москву. Игорек с полочки купил бутылку шампанского, конфеты вразвес, колбасу двух сортов: с жиром и без него, — колбасу он попросил в магазине нарезать тонкими скибками и в таком гастрономически идеальном виде принес домой, еще купил двести граммов сыра, пачку мармелада и в обществе одной очаровательной блондинки собирался отметить получку. Борис, зная все про еду, зная даже, какого сорта куплен сыр и когда была выпущена колбаса, приобретенная Игорьком, вчерашняя она или, наоборот, свежая, только что из колбасного цеха, — про девушку же ничего не знал. Не было у него нюха на девушек, не было. Поэтому

ужин выходил скромным, ибо нетерпеливый Игорек норовил как можно быстрее вытолкнуть непрошеного гостя из комнаты. Что делать, что делать, иногда бывали у Бориса Хвороста проколы, не без этого...

А в остальном жил он вполне сносно. Причем сколько я ни знал Бориса Хвороста, сколько ни встречался с ним в разные годы, он всегда был одет в одну и ту же черную тройку, нестираную серую рубашку, бывшую когда-то белой, обут в потрескавшиеся лаковые туфли и под подбородком у него обязательно красовалась пышная репсовая бабочка. И все так же впалый узкий живот перепоясывала полумедная-полулзолотая сияющая цепь с привязанным к ней сухариком. Борис Хворост не менялся ни внутренне, ни внешне, и даже прическа, которая готова была осыпаться еще при первой нашей встрече, нисколько за все эти годы не осыпалась.

Время щадило Бориса Хвороста.

С годами он не избавился и от привычки делать эскизы ногей, а поскольку он все годы находился в конфликте с ведущими преподавателями кафедры композиции, то каждый раз проваливал весеннюю сессию и, как всякий нерадивый школьник, оставался на переэкзаменовку; лето многоуважаемый Борис Степанович проводил в общежитии, делал десятки, сотни эскизов, изумлял тихих иногородних абитуриентов своими манерами, гибкой художнической ногой, едва приметным носовым свистом, который издавать может не человек, нет, лишь, пожалуй, насекомое (и еще Борис Степанович Хворост).

Иногда в поздний час он без стука открывал нашу дверь, входил в темную комнату, бесцеремонно расталкивал кого-нибудь из нас и, усмехаясь чему-то своему, неожиданно предлагал:

— Хотите, сударь, я новую главу из романа прочитаю? А? Свеженькую.

Борис Хворост писал роман под названием «Мандрадапуа мандрадапа!» Причем, что же означали слова «Мандрадапуа мандрадапа!», никто не знал. Хворост терпеливо втолковывал каждому невеже, что это клич одного вымершего индейского племени. Я, например, запомнил короткий абзац из этого романа, прочитанный вот так неожиданно, ночью: «Он ткнул себе пальцем в живот, и на одинокой пальме острова лопнул кокосовый орех, изумивший всех лягушек Маганазады. Но поскольку дело происходило не на Маганазаде, а в Кеммурии, то мы выпили перцовки и закусили ожиданием важного известия, написанным на бумаге. Известия не было, ожидание улеглось, и народ начал чихать». Это был набор нелепиц, но когда Борис Хворост собирал по вечерам вокруг себя любителей необычного и читал вслух главы из этого романа,—

и старые, давно уже написанные, и новые, — то обязательно раздавался хохот. Читал он, надо заметить, здорово. Корчил рожи, вскакивал на стул, падал на пол, свистел, хохотал, ревел, мычал, издавал губами плеск волн, вой ветра, хрюпанье переламываемых пополам пальм, чавканье обедающего орангутанга... Иногда он своими выступлениями доводил слушателей до колик, те были на грани вызова «Скорой помощи».

Однажды весной, в самом конце ее — на улице уже май стоял, жаркий, веселый, беззаботный, настоящий студенческий месяц, — Борис Хворост зашел к нам в комнату грустный, с сухариком, отцепленным от привязи, — он держал его в кулаке и постоянно подносил к носу. Проговорил печальным тихим голосом:

— Перед большим жизненным выбором, сударе, я стою. Шекспировский вопрос надобно мне решать: быть или не быть?.. Женюсь я, вот какая незадача, сударе..

Он замолчал, а нам показалось, что в ясном майском дне, в этой цветущей жаре погромыхивает сердитый августовский гром — предвестник осени, затяжных дождей и сырых холодов.

То, что Борис Хворост был всегда не прочь поволочиться за юбкой, знал, наверное, каждый и на факультете и в общежитии, но вряд ли кто воспринимал его ухаживания когда-нибудь всерьез.

Значит, произошло нечто из ряда вон выходящее.

Оказывается, занесла его как-то нелегкая во Дворец культуры автозавода имени Лихачева. Там он на танцах познакомился с круглолицей девицей — прессовщицей корпуса, где делают детали для автомобильных мостов. Девица была крепкобокой, мускулистой, именно ее неженская сила, ядреность и подкупили Бориса — он решил отложить все дела в сторону, отменить часть преддипломных занятий (а учеба у него, несмотря на конфликты и весьма странную жизнь, подходила к финишу, еще четыре-пять месяцев — и защита диплома) и поволочиться немного за прессовщицей.

И видно, дело там зашло далеко, раз Бориса Хвороста прижала не только сама прессовщица, а и ее братья, четыре доверху налитых силой здоровяка, каждый из которых мог запросто сложить нашего ловеласа вдвое и выжать, как тряпку. Здоровяки, что называется, «застукали» свою сестру с Борисом Хворостом, дали понюхать ему четыре пудовых кулака и предупредили, что если он не женится на «их Зинаиде», то ему худо будет.

Физическую силу Борис Хворост уважал и поэтому, страшась расправы, немедленно дал согласие жениться на Зинаиде. Так Борис Степанович Хворост угодил в сети Гименея.

— Одна положительная вещь в этой женитьбе все-таки имеется, сударе. — Борис Хворост задумчиво повертел в воздухе кистью

руки.— Стану я мужем Зинаиды — московскую прописку получу. А что это значит? Это значит, что при распределении меня в Тьмутаракань уже не загонят, а оставят работать в столице. И вполне возможно, в Доме моделей. С Пьером Карденом и Ниной Риччи в костюмных поделках состязаться. А? Как вы думаете?

На этот счет у нас суждение было единым: конечно же, Бориса Хвороста обязательно оставят в Москве, иначе быть не может. Не дано просто. И непременно в Доме моделей.

Но увы. Недаром говорят, что человек предполагает, а бог располагает. Забегая вперед, скажу, что после окончания института Бориса Хвороста не оставили в Москве, он получил назначение на швейную фабрику то ли в Подольск, то ли в Орехово-Зуево — в общем, в один из подмосковных городков. Прессовщица Зинаида, естественно, взяла расчет на автозаводе, поменяла московскую прописку на подмосковную и поехала вместе с Борисом. Устроилась работать на его же фабрику. Швейей-мотористкой.

После затяжной шумной вечеринки, которая последовала вскоре за свадьбой, мы больше не видели многоуважаемого Бориса Хвороста. На вечеринку он пришел с обручальным кольцом, прочно сидевшим у него на безымянном пальце. И одет был не в обычный свой черный костюм, а во что-то легкое, изящное, сшитое из коричневой, с искоркой ткани. Пиджак у него по тем временам был супермодным, без лацканов. Полупиджак-полутужурка. На груди слева, там, где сердце, алело яркое пятно — мазок масляной кадмиевой краски.

— Специально мазнул, — пояснил Борис Хворост. — Вы ведь знаете, что великий русский художник Константин Коровин, например, терпеть не мог новых вещей? И если он надевал новый пиджак, то обязательно сажал на лацкан мазок краски. Вот так-то сударе... Я, хоть и не Коровин, но тоже не люблю новых вещей. — Борис Хворост присвистнул тоненько, привычно, окидывая оком компанию, оживляясь при виде ребят своих, с кем многие годы за одной студенческой партией просидел, долбя науку и изобразительное искусство, потом на его лицо напознала вполне понятная тень озабоченности, губы сложились в обиженную полуулыбку-полуусмешку, и он нырнул в самого себя, будто в пустоту какую.

— Вот только Зинаида еще не знает, что я сделал с пиджаком...

Веселье шло дальше своим изведанным, знакомым каждому путем, все шумели, веселились, славя весну, конец сессии, предстоящее лето, но веселье это обходило Бориса Хвороста стороной. Он был, словно остров посреди речной быстрины, — вода несется куда-то, стремится с плеском и пузырястым шипеньем вдаль, а остров, молчаливый,

задумчивый, печальный, все стоит и стоит на одном месте. И нет такой силы, что могла бы сдвинуть, разбудить его.

Через несколько дней мы попрощались с Борисом Хворостом. Нам еще предстояло корпеть и корпеть над учебниками, работать не только кистью, а и руками, иглой, швейной машинкой, познавая на практике, что же такое современная мода и с чем ее едят.

Больше ни я, ни мои друзья никогда не видели его, ничего не слышали о нем. Только временами становилось жаль, что мы упустили этого человека, в грудь заползала странная холодная тоска, возникало желание повидать нашего знакомого чудака, многоуважаемого Бориса Степановича Хвороста, послушать его расскази-нелепицы, познакомиться с новой главой его романа «Мандрадапупа мандрадапу!»\*, а то и просто посмотреть, как он пьет пиво с леденцами, засовывает в часовой кармашек цепь с привязанным к ней сухариком (впрочем, ни цепи, ни сухарика в последние дни у него уже не было) и делает эскизы искусной босою ногой.

Жаль, когда теряешь чудаков, людей не от мира сего, оригиналов. Ибо по таким людям мы, как правило, определяем самих себя, собственные поступки, их нормальность. Мы не равняемся на этих чудаков, нет, упаси господь до этого докатиться, но все время держим их в поле своего зрения, делаем прикидку на них, производим поправки — вот таким, мол, быть нельзя. Как у детей: если не будешь есть манную кашу, то обязательно вырастешь плохим человеком, а у плохого человека часто болят голова и живот.

Выходит, и чудаки в нашей жизни нужны. Наверное, ради этого им стоит прощать и болтливость, и нелепицы, и излишнюю назойливость. Прощать не ради них самих, а ради тех, кто находится рядом.

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Остановка на Большой земле . . . . .	3
А вам встречались в жизни чудаки? . . . . .	30

**Валерий Дмитриевич ПОВОЛЯЕВ**

### **А ВАМ ВСТРЕЧАЛИСЬ В ЖИЗНИ ЧУДАКИ?**

Редактор **Е. Ф. Олейник**

Технический редактор **О. Н. Ласточкина**

---

Сдано в набор 28.02.84. Подписано к печати 18.04.84. А 00358.  
Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная  
печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,11. Тираж 95 000 экз.  
Изд. № 1146. Заказ № 2332. Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография  
газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865. ГСП, Москва, А-137,  
ул. «Правды». 24.



## АККРЕДИТИВ

● Аккредитив сберегательной кассы — удобный способ хранения денег в пути; при поездке в отпуск, командировку, при переезде из одной местности в другую.

● Аккредитив является именованным документом, по которому можно получить деньги в сберегательной кассе любого города или района.

● Сберегательные кассы выдают аккредитивы двух видов: на любую сумму до 3000 рублей включительно и на сумму в 300 рублей. Деньги по аккредитиву до 3000 рублей выплачиваются сберегательной кассой в полной сумме, на которую был выдан аккредитив. Если владелец такого аккредитива желает получить только часть денег, то на оставшуюся сумму ему выдается новый аккредитив. По аккредитиву в 300 рублей можно получить деньги в полной сумме или частями, по 100 рублей. Для получения денег по аккредитиву установлен четырехмесячный срок со дня выдачи аккредитива. После этого срока оплата аккредитива сберегательной кассой может быть произведена в течение трех лет только с разрешения управления Гострудсберкасс области, края или республики, название которого указано на бланке аккредитива.

● При получении денег по аккредитиву его владелец должен предъявить в сберегательную кассу паспорт или заменяющий его документ.

● Владелец аккредитива может доверить получение денег по аккредитиву другому лицу.

**Российское республиканское Главное  
управление Гострудсберкасс СССР**